



№ 9

# Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ  
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ  
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ  
АЗЕРБАЙДЖАНА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

Малик ДУРСУНОВ. <i>Длинная дорога в рай. Отрывок из романа</i>	3
Ляман БАГИРОВА. <i>Миниатюры, рассказы</i>	68
Фархад МЕХТИЕВ. <i>Юморески</i>	117
Яна КАНДОВА. <i>Боевой клич кота Микэ. Рассказ</i>	130

### ПОЭЗИЯ

Аладдин ЯГУБОВ. <i>Стихи</i>	55
Вера ВЕЛИХАНОВА. <i>Стихи</i>	109
Тофик АГАЕВ. <i>Дистих</i>	128

### ПУБЛИЦИСТИКА

Галина УДАЛЫХ. <i>Поэтика рассказа И.А.Бунина «Божье древо»</i>	60
Александр ГРИЧ. <i>С днем рождения, Интигам!</i>	114
Ниджат МАМЕДОВ. <i>Мысли во время карантина</i>	125
Марат ШАФИЕВ. <i>Аэлита из Баку</i>	131

2020

Главный редактор	– Солмаз ИБРАГИМОВА
Зам.главного редактора	– Елизавета КАСУМОВА
Ответственный секретарь	– Эльдар ШАРИФОВ – СЕЙШЕЛЬСКИЙ
Отдел прозы	– Надир АГАСИЕВ
Отдел поэзии	– Алина ТАЛЫБОВА
Отдел подписки и рекламы	– Джемиля ШАРИФОВА (050) 772 - 09 - 41 (для СМС)
Литсотрудники	– Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА
Корректор	– Анна КУЗЁМКИНА
Редакционная коллегия:	<i>Почетный аскакал «Л.А.» Сияуш МАМЕДЗАДЕ, Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ</i>
Литконсультант	– Натиг РАСУЛЗАДЕ

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве  
печати и информации Азербайджанской Республики  
Регистр. № 352

Адрес редакции:  
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53  
Электронный адрес: [litaz1931@gmail.com](mailto:litaz1931@gmail.com)

Сдано в печать 21.08. 2020 г.  
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16  
Печать офсетная, 8.25 печ. л.  
Тираж 400  
Отпечатано в типографии «OL»НКРТ ММС  
Тел.: 497-36-23  
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

***Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.  
В публикуемые материалы  
редакция вносит необходимую правку.***

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию «OL»НКРТ ММС

**МАЛИК ДУРСУНОВ**

## **ДЛИННАЯ ДОРОГА В РАЙ**

*Отрывок из романа*

*Малик Орудж оглу Дурсунов родился и вырос в Гахском районе Азербайджана. Закончил Харьковский юридический университет им. Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук. Основатель и директор юридической фирмы ООО «АМАЛ-МД».*

*Активный участник азербайджанского диаспорского движения в Украине, председатель общества «Объединенный Конгресс азербайджанцев в Харьковской области».*

*Автор романа «Кара-дайы», лауреат Национальной книжной премии Азербайджана за 2013 г.*

– Сколько бы человек ни тосковал о бессмертии, конец неизбежен, и он не всегда ужасающий! – тверд и непреклонен зогаллинский мулла Байрам, когда призывает своих односельчан относиться к смерти, как к чему-то неминуемому. – Мы все рано или поздно выйдем на финишную прямую и помчимся туда, где вечный покой. Не стоит изводить себя собственной кончиной, ужасаться тому, что тебя больше не будет и всё кончится. Не стоит! Мысли о собственной смерти безжалостно разрушат ваш сон, вы будете кусать подушку, кричать, чуть ли не головой об стенку биться. Всё это лишнее, не поможет!

– А что тогда поможет? – хором спрашивают простые зогаллинцы, которые уж больно любят жить и до ужаса боятся смерти. – Тебе хорошо, – напоминают они мулле Байраму, – прогулял свою жизнь, как душа желала, только на старости лет бросил пить и ударился в религию, образумился. Тебе сейчас легко, а каково нам? А если мы только начинаем жить и еще не дозрели до твоего спокойного восприятия смерти?

Кара-дайы, между прочим, моментально отворачивается от мุลлы Байрама, когда тот в очередной раз заводит песню о финишной прямой. Как-то я у него спросил, где и у кого, по его мнению, позаимствовал наш мулла Байрам словосочетание «финишная прямая», и почему финиш зогаллинца должен пройти именно по прямой дороге? Неужели по пути нельзя сворачивать куда-нибудь?

Разговор наш состоялся, естественно, за очередным застольем. Мое рассуждение настолько понравилось Кара-дайы, что он тут же поддержал меня и развил мое предложение:

– Прямая дорога – самая близкая дорога к цели, запомни, сынок, – тутовка располагала к философской беседе. – Не стоит завершать свою жизнь, двигаясь по прямой дороге. Вообще никогда не стоит выходить на прямую дорогу. Прямая дорога – дорога спешки, дорога для тех, кто торопится жить. Я никогда не спешил жить, мне нравились и нравятся размеренные и неторопливые будни, когда можно посидеть до поздней ночи за обильным столом с людьми, которые мне по душе и которые не являются занудами. Прямая дорога, будь она проклята, для тех, кто спешить жить. Всевышний специально придумал такую дорогу для них, чтобы они быстрее завершали свои дела на этом свете и напрямиком направились в иной мир. Вот я, например, в войну был разведчиком, а разведке прямая дорога противопоказана. Выйдешь на

прямую, тебя сразу засекут. Поэтому и тебе советую: время сейчас хоть и мирное, но если есть возможность, если есть выбор дороги, никогда не выходи на прямую дорогу, петляй, уходи налево, уходи направо, ныряй в лес, в воду, пройди по полям, поднимись в горы, выпей холодной родниковой воды. Отдохни, посмотри с высоты гор на зеленые зогаллинские поля и на луга, на мирно пасущихся коров и овец. В конце концов, посмотри оттуда на крышу своего дома. Дыши прохладным чистым воздухом, получай наслаждение от жизни и живи. И спускайся по тем же тропам. Рано или поздно все эти тропы, тропинки и дорожки всё равно приведут туда же, куда и прямая дорога. Но ты выиграешь время, а время в человеческой жизни – самое ценное. Поэтому я тебе советую: никогда не спеши выходить на финишную прямую, пусть мулла Байрам сам марширует по прямой к своему финишу!

– Договорились, – согласился я и порадовался, что снова сижу за одним столом с Кара-дайы. После нашей с ним встречи прошло около года. За год я истосковался по нему, по разговорам с ним, по его неисчерпаемой жизненной философии. Истосковался я по его гостеприимному дому, по хлебосольному богатому столу. По тому, как он медленно спускается в подвал и неспеша поднимается оттуда с налитой в бутылку из-под минеральной воды тутовкой. Как же мне в жизни повезло родиться его племянником!

Как бы долго ни длилось ожидание, Кара-дайы принес бутылку и поставил в центр стола, я тут же разлил тутовку по стопкам.

– Пусть мулла Байрам сам марширует по прямой к своему финишу, – Кара-дайы еще раз повторил последние свои слова.

– Вот именно, – поддержал я его в ожидании интересного рассказа.

Моя поддержка оказалась очень даже кстати, и Кара-дайы тут же приободрился:

– А то что получается? – начал он. – Как-то, не помню, на чьей свадьбе, этот наш Байрам отвел меня сторону: «Можно вас на минутку, Кара-дайы?» – спросил он.

– Хоть на две, – ответил я ему, – почему бы и нет.

Отошли в сторону, а народ на нас смотрит.

– Я давно хотел поговорить с вами, никак не решался, – начал мямлить Байрам.

– Давай уж, не томи, – ответил я ему. – Говори!

– Может, хватит вам пить водку, Кара-дайы, может, пора завязать, а? Возраст-то у вас, Кара-дайы, уже слава Аллаху! Намаз ежедневный не совершаете, орудж не соблюдаете, хоть пить перестаньте. А там ведь, на том свете, за всё придется отвечать. Знайте, Кара-дайы, там каждый за себя отвечает...

Ох, и разозлил он меня тогда:

– Послушай, Байрам, – ответил я ему, – откуда ты всё это знаешь? Ты больше всех пил в этой деревне и за пять лет, что не пьешь, хочешь сказать, что ты стал знатоком религиозных дел? Это раз. А во-вторых, когда я начал пить, ты еще даже не ползал. И не тебе меня учить, что мне соблюдать и когда мне с чем завязывать. Фашистам в войне ответил, и там отвечу!

– Мое дело предупредить, а там смотрите сами, – пробурчал он под нос и ушел.

– Ни стыда, ни совести. Правда, покраснел, когда я ему напомнил, как он сам пил.

Наступила тишина. Я чувствовал, что Кара-дайы хотя и старается этого не показывать, но он определенно переживает из-за столь резкого ответа мулле Байраму.

– Ну, как я ему? – в подтверждение моей догадки Кара-дайы поинтересовался моим мнением – правильно ли он «врезал» мулле Байраму.

– Тоже мне, знаток, – я, естественно, был на стороне Кара-дайы, поэтому ментально поддержал его, чтобы успокоить, а на самом деле подливая масла в огонь. – Сам всю жизнь пил, видите ли, образумился сейчас, с советами лезет, – в ожидании интересной беседы я без промедления наполнил стопки.

Вопросы жизни и смерти волнуют зогаллинцев с самого детства. При этом мои зогаллинцы народ особый, они любят жить, гулять, радоваться, а вот помирать особо не спешат. Поэтому живут они долго, не торопятся выходить на «финишную прямую», как бы рьяно туда их ни приглашал мулла Байрам.

Еще любят зогаллинцы старое вспоминать, это для них благое дело. Только сядешь рядом с почтенным зогаллинцем, только спросишь у него о житье-бытье, так у того буквально через минуты появляется непреодолимая потребность вспоминать лучшие времена прожитого им советского прошлого. К воспоминаниям предрасполагают не только сегодняшние условия их жизни, но и, видимо, осознание безвозвратно ушедших и потерянных ими молодых лет и тоска по ним.

– Так хорошо жилось, – тоскуя по восьмидесятым годам прошлого века, вспоминает тот же Кара-дайы сегодня, – временами я даже думал, неужели наступил тот самый коммунизм, о котором вещали по радио и телевизору, писали в журналах и газетах? – говорит старик. – Я ведь всякое видел в своей жизни и мне было с чем сравнивать: тяжелое детство, полуголодные довоенные годы. Потом была война, будь она проклята, сколько молодых жизней унесла, сколько мучений, горя и разрушения принесла. А как тяжело было после войны. Но народ выстоял, постепенно выпрямились согнувшиеся спины зогаллинцев. И наступила такая благодать. Но я будто чувствовал, что ненадолго всё это, не сегодня, так завтра, пусть даже через год случится такое, настанет такой день, чьи-то грязные руки заберут у нас этот достаток, разрушительным селевым потоком смоем наше благополучие. Ничто не предвещало беды.

Задумывается Кара-дайы, но тутовка собственного домашнего приготовления освежает его память, обостряет воспоминания:

– Что бы ни говорили, что бы ни писали, не может простой человек хорошо жить и всё! Простой человек, сынок, рожден для лишений! Запомни мои слова! Ему противопоказана благодать, – вдруг решительно заключает Кара-дайы. Поди поспорь со стариком. Я молчу, кивком головы соглашаюсь с ним.

– Даже если я и предполагал, – продолжает Кара-дайы, – что хорошие дни быстро растворятся, исчезнут, как прошлогодний снег в моем фундуковом саду, разве я мог остановить развитие истории?

Какой же великолепный напиток все-таки тутовка! Буквально через две-три стопки Кара-дайы начал «созерцать» свое место в истории.

– Были моменты, – продолжает Кара-дайы, сожалея о том, что не смог остановить неблагодарное развитие истории в отдельно взятой деревне, хотя, как оказывается, пытался как-то предупредить своих земляков о возможных негативных последствиях. – Я хотел поторопить своих земляков, чтобы те насытились красивой жизнью, наслаждались ею. Заодно я хотел предупредить их, что скоро вновь наступят тяжелые времена.

Но почему-то Кара-дайы, по его же собственному признанию, потом быстро передумал и не стал оповещать об этом своих земляков. То ли ему помешали частые застолья, устраиваемые в те годы зогаллинцами, в которых он принимал активное участие, то ли он сам не был окончательно уверен о возможном наступлении тяжелых времен. Сегодня Кара-дайы этого не уточняет, но в оправдание добавляет:

– Со мной такое иногда случается: Всевышний на какое-то короткое время наделяет меня особыми способностями. Я вижу и чувствую, каким будет завтрашний день, послезавтрашний день. Вижу плохие последствия, а вот действовать боюсь, предупреждать опасуюсь. Не проходит и дня, случается то, что я мог предотвратить или хотя бы об этом предупредить.

Впервые слышу об этом сверхъестественном даровании Кара-дайы, подаренном ему высшими силами и никогда им не использованном на практике.

Зогаллинцы тем временем жили в свое удовольствие, даже не предполагая, что все хорошее пройдет быстро и незамеченно. Поэтому, по словам Кара-дайы, они не успели сполна «полакомиться» сладостью тех лет.

– Жили, оказывается, мы в коммунизме, сами того не ведая. Не оценили мы те года, – даже в наши дни с тоской вспоминают многие зогаллинские старики, считая в том числе и себя виноватыми в том, что так быстро и безвозвратно ушли те времена.

По правде говоря, не оценили бы зогаллинцы те года никогда, если бы их даже сто раз в день предупреждал тогда Кара-дайы о грядущем тяжелом времени. Больно уж безалаберный народ наши зогаллинцы.

В итоге получилось так, как и предполагал Кара-дайы, но об этом, конечно, он вслух не говорил. По-иному и не могло быть, учитывая дальновидность, жизненный опыт и мудрость аксакала.

Конец восьмидесятых и девяностые годы прошлого столетия принесли столько бед моему народу, столько горя навалилось на головы невинных людей, что и сегодня, когда вспоминаешь об этом, становится горько. Хочется посидеть где-нибудь на дальнем дворе Кара-дайы (что мы сейчас и делаем), желательно вдвоем, пить с ним горькую, слушать и слушать старика, и если даст он тебе слово, самому тоже высказаться о тех годах. Наступило смутное время, наступило оно как-то неожиданно, многим тогда казалось, что оно никогда не закончится.

Развал старой системы сопровождался отсутствием новой власти, появившиеся бытовые трудности стали угнетать привыкших к достойной жизни зогаллинцев. Жизнь разрушалась на глазах, давили безработица и отсутствие денег, не видно было никакой перспективы. Ко всем бедам добавились бытовые проблемы, тяжелее всего зогаллинцы переносили частое отключение электричества, а то и его отсутствие неделями в домах. Свет из жизни зогаллинцев исчез вместе с деньгами в их карманах. Днями зогаллинцы сидели в темноте, длинные зимние вечера семьи коротали вокруг единственной керосиновой лампы, чудом сохранившейся от дедушек и бабушек. И даже если вдруг появлялся на час-другой свет в домах, напряжение в сети было настолько слабым, что бытовые приборы «не тянули» и становились негодными. Многие телевизоры и холодильники перегорели от резких перепадов и скачков напряжения в сети.

Люди перестали ходить друг к другу в гости, из-за материального стеснения на редкие свадьбы тех лет хозяева стали приглашать только самих близких родственников. Молодые парни массово уходили на войну, будто шли не воевать, а кино смотреть, оставив дома заплаканных родителей, любимых жен, девушек, братьев и сестер. Стали привозить в Зогаллы погибших его сыновей. Женщины облачились в черное. Мужчины в знак траура перестали бриться. Бороды, одни длиннее других, накрыли некогда чистые и светлые лица зогаллинских мужчин.

Каких только приключений не случалось с зогаллинцами в те годы, одному Аллаху известно. Но самые запоминающиеся истории, которые сегодня зогаллинцы не без иронии и стыда вспоминают, связаны с проделками дьявола или, говоря зогаллинским языком, с проделками шайтана. В те темные годы все неурядицы, грязные поступки, даже случившееся однажды преступление зогаллинцы стали списывать на проделки шайтана, будь он трижды проклят! Сколько это безобразие еще длилось бы, кто его знает, не будь решительного протеста простого зогаллинца, имя которого назовем позже, не согласившегося с кражей трех мешков фундука, когда земляки хотели и этот факт связать с проделками шайтана.

– При чем тут шайтан? – уперся хозяин трех мешков золотистого фундука.

И оказался прав, так как милиция быстро вычислила вора, освободив от очередного поклепа шайтана, на которого зогаллинцы уже успели повесить массу собственных грехов.



– Три мешка золотистого фундука, ночью украденного у простого зогаллинца, спасли всю деревню от невиданного позора, к которому тогда нас толкал шайтан. А первым, между прочим, в Зогаллы шайтан охмурил меня! – так сегодня объясняет свою ошибку Кара-дайы и признается, что именно он первым начал поддаваться уловкам шайтана в Зогаллы. – Как говорит в наши дни мулла Байрам, прямой дорогой мы катились тогда к катастрофе.

\*\*\*

Но давайте всё по порядку и с самого начала...

Да простит меня Всевышний, признаюсь и раскаиваюсь: сегодня я грешен! Когда-то я дал слово Кара-дайы, что никогда не буду писать о его злоключениях с шайтаном. Этот проклятый шайтан в те годы долго терроризировал моего старика и чуть было не сбил его тогда с истинного пути. Когда Кара-дайы рассказывал мне эту историю, чувствовалось, что ему определено неудобно, временами даже стыдно за свое поведение в те годы. Чтобы успокоить его, я дал слово Кара-дайы никогда не вспоминать темных страниц зогаллинской жизни, не ворошить старого. Но время на месте не стоит, казавшееся некогда темным по истечении определенного периода становится забавным и интересным. Именно это и подтолкнуло меня к тому, чтобы описать те события без разрешения аксакала.

Как бы я себя ни оправдывал, всё равно чувствую, что грешен. С другой стороны, я же не праведник, имею право не соблюдать писаные и неписаные постулаты. А Кара-дайы, тем более, дважды не праведник. О том, что рай нам с ним не светит после земной жизни, я догадываюсь. И если уж суждено мне гореть в аду за свои прегрешения, то, пусть Кара-дайы не обижается, гореть будем, скорее всего, вместе с ним. Так что напишу я эту историю – одним грехом больше, одним меньше. А может, где-то и зачтется, кто его знает.

\*\*\*

Вернемся к тому шайтану. По словам Кара-дайы, в те годы в Зогаллы орудовал один единственный шайтан, переходя от одного дома к другому, от одного зогаллинца к другому. Естественно, имел дело этот шайтан и с Кара-дайы тоже. Оказывается, именно к нему этот шайтан имел особую ненависть, а иногда даже и зависть, хотел свести старика с истинного пути. Сегодня ни для кого не секрет, что временами этот шайтан, бывало, и сбивал Кара-дайы с истинного пути, а если быть точным, первым его и сбил. Охмуренный шайтаном Кара-дайы, будучи авторитетным аксакалом, вначале смог убедить земляков в списании всего случившегося в деревне на проделки шайтана. Собственная оболваненность шайтаном им была преподнесена как нечто неотвратимое в бытовой и хозяйственной жизни земляков. Но, как утверждает Кара-дайы, с ним это случалось всего несколько раз и совсем ненадолго, три или четыре месяца, хотя преследовал шайтан его довольно долго. А после раскрытия преступления, связанного с кражей трех мешков фундука, Кара-дайы признал свою ошибку и быстро, только ему известным способом, вышел из-под влияния шайтана.

Шайтан был настырным, упертым, как буйвол, и, встретив сопротивление, стал наступать без передышки. Но, по словам Кара-дайы, увидев бесполезность своих действий, в конце концов шайтан отстал от него и, видимо, перешел к другим, скорее, к мугалам<sup>1</sup>. Потому как, оказывается, по словам того же Кара-дайы, шайтан никогда без дела не сидит, он постоянно в поисках слабовольных людей. Но с Кара-дайы его про-

<sup>1</sup>Мугалы – условное название жителей соседних деревень, литературный приём автора. Зогаллинцы и Мугалы – азербайджанцы, по укладу жизни и по быту немного отличающиеся друг от друга, и на этой почве вечно имеющие друг другу претензии – классическое соперничество соседних деревень в Азербайджане. (Ред.)

делки в итоге оказались безуспешными. Кара-дайы, как он сегодня утверждает, изгнал шайтана не только со своего двора и дома, но и со всей территории Зогаллы, потому как решительность его действий и неординарность его приемов по изгнанию злого шайтана были настолько неожиданными для последнего, что тот плюнул на всё и покинул пределы Зогаллы.

– Так и плюнул, – не удержался я на этом месте разговора и посмеялся. – Куда же он плюнул, если не секрет?

– А ты как думал? – обиделся Кара-дайы. – После того позора и издевательств над ним с моей стороны, уважающий себя шайтан только так бы ушел! А плюнул он в скотном дворе, когда покидал двор, рядом с хлевом коровы.

Шайтана, который в те годы преследовал его, Кара-дайы будто даже знал. Знал, естественно, не в лицо, а по устраиваемым им западням и ловушкам на его пути, по той беспощадной войне, которую вел шайтан против Кара-дайы, и по тому, как этот шайтан неотступно следил за ним. Но был ли уважающим себя тот шайтан или он был неуважающим себя, никто сегодня не скажет. Точно так же сегодня в Зогаллы никто не знает, плюнул ли этот шайтан, когда он покидал двор Кара-дайы, или ушел, не плюнувши. Приходится верить Кара-дайы, который утверждает, что именно так и было. Тем более, что недавно Кара-дайы после изрядного количества выпитого со мной хвастался, что в последний раз он так мастерски унизил шайтана и с таким позором изгнал его, что такой уход обязательно сопровождался бы сочным предварительным плевком.

Правдивость утверждений Кара-дайы о шайтанском плевке в Зогаллы никто не оспаривает, а с другой стороны, никто и не подтверждает. Средний зогаллинец очень мало осведомлен о жидкостях и испражнениях, выделяемых животными, к которым с подсказки Кара-дайы отнесли и шайтана. Не каждый зогаллинец в состоянии отличить круглые овечьи шарики от козьих, не говоря о шайтанском плевке. Так что, может, этот шайтан на самом деле и плюнул перед уходом во дворе Кара-дайы, но поди, отличи его плевков от слюны той же коровы.

Как бы там ни было, сегодня зогаллинцы полностью свободны от шайтанского влияния, за что, конечно же, они должны быть благодарны Кара-дайы. Но о том, что именно с его подачи в одно время в Зогаллы разгуливал злой дьявол, Кара-дайы предпочитает молчать.

Как-то в очередную нашу встречу я очень уж дотошно интересовался его злоключениями с шайтаном, моя настырность насторожила Кара-дайы, он грозно посмотрел на меня и предупредил:

– Об этом не стоит писать. Изгнать-то изгнали мы его, а если он вернется? – воспитательно посмотрел Кара-дайы на меня.

– Вернется – опять получит по голове, – ответил я, тем самым желая показать, что я всецело верю не только в его метод изгнания шайтана, но и в бессилие шайтана в схватке с ним.

Кара-дайы понравился мой ответ, однако он твердил свое:

– А если, скажем, вернется он после, не дай Аллах, моей неожиданной смерти? Мы все смертны, может ведь такое случиться. Что тогда?

– Значит, кому-то надо передать свои знания, – сказал я, в принципе допуская, что Кара-дайы и вправду может умереть, возможно, даже неожиданной смертью.

На этот раз мой ответ ему не понравился, он потемнел, как мне показалось, хотя куда уже темнее.

– Ага, легко сказать – передать. А если я не хочу пока передавать, а если я хочу еще пожить немножко!

– Вас не поймешь, Кара-дайы, – рассмеялся я. – По мне, живите хоть сто лет.

– Сто не сто, но не насытился я этой жизнью, понимаешь? – в глазах Кара-дайы появился свет.



– Понимаю, – утвердительно закивал я, как бы соглашаясь, что ему действительно пока рано уходить.

– Ну хорошо, возьмем всё-таки ситуацию, что умер я, не успел передать секреты изгнания шайтана, а он, как только узнал об этом, вернулся в Зогаллы. И опять начал терроризировать зогаллинцев. И что получится? – спросил у меня Кара-дайы.

– Что получится? – вернул я ему его же вопрос.

– А получится вот что... – начал Кара-дайы и задумался в поисках лучшего объяснения. – Он будет терроризировать людей, а люди будут проклинать меня, имея в виду, что я ушел и не объяснил людям, как избавляться от этой черной напасти.

– Могут и проклинать, наши такие, – согласился я.

– Я знаю наших лучше тебя. Нет, я так не хочу, я хочу, чтоб после меня люди при упоминании моего имени посылали мне «рахмат» и вспоминали меня добрым словом. Говорили, что вот, наш Кара-дайы и фашистов погнал во время войны до Дрездена, а в мирное время изгнал злого шайтана, который, поселившись в душах зогаллинцев, мог натворить столько бед, не дай Аллах!

К слову, если для всего мира конец войны ассоциируется со взятием Берлина, то у Кара-дайы свой конец войны – это освобождение Дрездена. Об этом я давно знаю и в таких случаях безоговорочно соглашаюсь с ним.

– Тут вы, конечно, правы, – сказал я, – не каждому это под силу. В войну, скажем, вы были молодым, а сейчас? Изгнать в вашем возрасте шайтана не каждый сможет, – я хотел как бы поддержать его, но, видимо, вышло не очень удачно. Ему это не понравилось:

– А какой у меня возраст? И при чем тут возраст? Со злом надо бороться в любом возрасте. Запомни! – постучал кулаком об стол Кара-дайы.

«Началось», – подумал я, но утвердительно кивнул:

– Запомню.

– Ну, вот и хорошо. Что касается возраста. На старости лет, между прочим, легче даже бороться. В старости, например, ты не боишься, что можешь пасть жертвой! Не боишься, потому что жизнь прожита достаточно длинная, если и помрешь в этой борьбе, не жалко будет уходить. Я вообще считаю – на войну надо посылать людей преклонного возраста, стариков в первую очередь. Если уж кому суждено погибать, пусть они первыми уходят, нечего молодых гробить, посылая их на войну.

Мы тогда пили вино, я понимал, что если уж Кара-дайы начал разговор о войне, то мы скоро, забыв шайтана, вернемся к немцам и мне придется выслушать очередную героическую страничку его военной жизни, которую, скорее всего, до этого слышал. Поэтому я постарался вернуть его к началу нашего разговора, к шайтану:

– Может, на самом деле, Кара-дайы, пока вы живы и здоровы, стоит кому-то из близких передать секреты профессии? Раскрыть тонкости вашего метода изгнания шайтана? – пошутил я.

– А ты чужой, получается, да? Я же тебе рассказал.

– Я могу и не быть в Зогаллы, не дай Аллах, когда он вернется. Это раз. Во-вторых, как я понял, за день или даже за неделю с ним не справиться. Это два. Тут надо постоянно проживать в Зогаллы. Согласитесь, Кара-дайы, я не лучший вариант, хотя я кое-что уже и знаю о вашем методе. Если вы сами не хотите, я могу по своему выбору кому-то из нашего рода, доверенному человеку, рассказать, – посмотрел я на него в ожидании разрешения.

– Нет! – резко перебил он меня. – Ты пока молчи, никому ни слова! И не стоит об этом писать!

– Как скажете, – быстро посправился я. – Я имел в виду кого-то из тех, кто в Зогаллы постоянно проживает...

– Может, я как-нибудь старшему внуку расскажу, но пока рано. Я еще жить хочу, умирать рано! Вот тебе рассказал, знаю, что никому не передашь наш разговор.

Плохо, видимо, Кара-дайы знал меня, раз я взялся писать об этом. С другой стороны, может, именно тот самый шайтан, которого когда-то с позором изгнал Кара-дайы, каким-то образом подобрался ко мне и сегодня подталкивает меня к написанию этой истории... Кто его знает?

Как учила нас в детстве наша покойная бабушка, да будет ее место в раю, при любом упоминании шайтана сразу вслух надо произносить «бисмиллах», означаящее, что ты взял инициативу в свои руки и тем самым обессилил шайтана. При написании этой повести я столько раз произносил «бисмиллах», что если бабушкины предостережения были правдивыми, то шайтан, о котором идет речь в этой повести, лежит наверняка в какой-то грязной канаве за пределами Зогаллы на мугальской территории и только и делает, что просит меня, чтобы я остановился. А я не собираюсь останавливаться, пусть его искушают мугальские комары, пусть там сгниет эта нечистая сила.

«Бисмиллах»!

\*\*\*

Опасность навлечь на себя гнев хранителей народных зогаллинских традиций заставляет меня каждый раз оглядываться назад, прежде чем вслух произнести то, на что, возможно, другие решаются без оглядки.

Я отчетливо понимаю, что мне было бы гораздо проще не трогать тему, на которую в Зогаллы негласно наложен запрет, или, как любит выражаться в таких случаях Кара-дайы, «не щипать за усы стариков». С другой стороны, мое молчание явилось бы показателем полного безразличия к происходящему, чего я не могу себе позволить. Тем более, что мое любопытство с детства было сильнее боязни гнева, поэтому я бесстрашно оборачиваюсь назад – и вижу следящих за каждым моим движением зогаллинских аксакалов, нервно теребящих седые бороды и предостерегающе качающих головами:

– Только попробуй! – предупреждает один старик.

– Не смей! – вторит ему другой.

– Получишь! – читаю в глазах у третьего.

С виду все такие ухоженные, порядочные, убеленные сединой, глядишь на их головы – будто ранней весной на вершины гор смотришь. Самое главное, все они считают себя мудрыми.

Тот же Кара-дайы любит учить молодых:

– Общество, где молодое поколение отказывается от мудрости аксакалов, неизбежно деградирует, – говорит он так официально, будто по телевизору выступает. – Молодое поколение обязано прислушиваться к советам стариков, – тут же добавляет он.

Не принимаются никакие возражения:

– В обществе, где молодое поколение отвергает мудрость аксакалов, мугализация неизбежна! – ставит он жирную точку в этом вопросе, и после таких предупреждений основная часть зогаллинской молодежи на время настораживается, становится послушной. Для них нет большего унижения, чем угроза возможной мугализации.

Той части зогаллинской молодежи, которая иногда позволяет себе не соглашаться, не найдя других аргументов убеждения, Кара-дайы говорит:

– Вот пройдете жизненный путь по наше, тогда всё поймете.

Прославленное веками в азербайджанском народе уважение к аксакалам, к их мудрости, в Зогаллы и сегодня имеет место быть. Но если у местного населения иные поступки седоволосых зогаллинских стариков вызывают недоумение, временами даже гнев, то у мугалов они вызывают естественную насмешку.

У того же Кара-дайы, который был и остается для меня самой светлой головой в Зогаллы, не все поступки в последние годы получались мудрыми, и это – мягко говоря. Кроме как позорным, начало его знакомства с шайтаном не назовешь. История эта потом долго будоражила зогаллинцев. Злой шайтан в одно время, по утверждению Кара-дайы, якобы плотно сидел в душах зогаллинцев, и именно он заставлял их совершать много подлых поступков.

Для меня по сей день остается большой загадкой, как Кара-дайы, будучи да-леким от верований человеком, пришел к такому выводу, и кто его надоумил на это. Увлечшись, кому только Кара-дайы на старости лет не рассказывал о проделках шайтана. С его легкой руки в одно время зогаллинцы все свои неудачи и черные дела стали списывать на шайтанские проделки. Как объяснял Кара-дайы своим землякам, шайтан, пользуясь добродушием зогаллинцев, часто вводил их в заблуждение. А этого шайтан добивался через сомнения, которыми якобы поражал сердца зогаллинцев.

Утверждение Кара-дайы о том, что якобы все человеческие поступки есть продукт управления и обмана людей шайтанами, зогаллинцы подхватили быстро. Как же не верить, если сам Кара-дайы в ту осень свои ошибки тоже стал списывать на шайтана? Какие только поступки не списывались в Зогаллы на злого шайтана в течение трех осенних месяцев!

На свадьбе сына Алимардана пьяный молодой сосед Ильдырым ударил ножом самого жениха, сына Алимардана! Невиданный был случай даже по меркам Зогаллы. Ильдырым, всегда спокойный и рассудительный парень, на следующий день, придя в себя, клялся и божился, что даже не помнит, как всё это произошло.

– Разве я мог ударить ножом человека, с которым я вырос, вместе с ним ходил в школу, учился в одном классе, потом еще мирно соседствовал? – спрашивал он у стариков.

– Действительно, – призадумались зогаллинские аксакалы, – с какой стати он должен был ударить жениха, если он на него зла не держал и не имел к нему претензий?

Нерешительность аксакалов была на руку Ильдырыму:

– Как я мог ударить, как? – еще настойчивее спрашивал он у аксакалов. – Вы мне ответите или нет?

У аксакалов не было прямого ответа:

– Если у Ильдырыма не было повода для нанесения удара ножом в жениха, если не было умысла в действиях Ильдырыма, значит, всё это дело не его рук, значит, какие-то другие силы управляли им, – решили в итоге зогаллинские старики и предложили мирно заглаживать дело, не доводя его до милиции. Тем более, что старики тут же вспомнили предостережения Кара-дайы о засевшем в Зогаллы шайтане, о его злых намерениях. Одним словом, поступок пьяного молодого соседа Алимардана старики списали на проделки шайтана, правда, при этом предупредив Ильдырыма, чтобы тот впредь сильно не напивался на свадьбах. Якобы, шайтан в нем нашупал слабое место и впредь еще не раз будет пытаться заставить его совершать ненужные поступки.

На проделки шайтана списали и отстрел охотником Эйвазом двух дворовых собак, залаявших на него, когда он ранним утром возвращался с охоты без добычи.

– Нормальный охотник никогда не застрелит собаку! – категорично вынесли вердикт аксакалы. – Не иначе, как шайтан продолжает мутить рассудок зогаллинцев.

Всей деревней помогли погасить недостачу в деревенском магазине, обнаруженную при внезапной ревизии работниками райпо. Заведующий магазина Мирали, который на глазах зогаллинцев прокутил государственные деньги, позже списав это на проделки шайтана, умудрился заработать даже на недостаче. Он в два раза высил недостачу, а добродушные земляки собрали указанную им сумму.

Еще много мелких и не очень мелких поступков в ту осень было списано на шайтана. Неизвестно, сколько продолжались бы подобные безобразия, если бы среди зогаллинцев не нашелся человек, который отказался верить в проделки шайтана. Им оказался простой зогаллинец Анвар, в прошлом скотник колхоза. Поздней осенью, ночью, у него с веранды дома украли три мешка золотистого фундука. Рано утром, обнаружив пропажу, он не стал созывать сбор аксакалов, а первым же автобусом съездил в Гах и написал заявление в милицию. Мало того, он указал и на подозреваемого, а именно – на своего соседа Карима, имевшего к тому времени две судимости за кражи. Милиция сработала оперативно и через час на чердаке скотного сарая Карима нашла украденные мешки, хотя те были умело спрятаны под сеном. Карим, естественно, тоже пытался списать ночную кражу на шайтана. Будто не он таскал ночью мешки и не он их прятал на чердаке под сеном. Анвар и слышать не хотел об этом, требовал наказания. Аксакалы тоже задумались: если бы Карим украл один мешок, рассуждали они, еще можно было бы говорить о проделках шайтана. А тут сразу три мешка, два желтых и один белый – вся зимняя заготовка бедного Анвара. Как бы там ни было, после небольшого совещания аксакалы на этот раз отказались от общественной защиты Карима и разошлись. Милиция тем более слышать не хотела о каком-то шайтане, якобы совратившем Карима. В присутствии соседей они стали возвращать мешки с фундуком их законному владельцу, а Карима забрали с собой в отделение. Кстати, милиционеры вернули Анвару все три мешка украденного у него фундука, но один желтый мешок в процессе переноса каким-то образом выскользнул из твердых рук хозяина и с подсазки угрюмого «шайтана в погонах» оказался в машине милиционеров. Анвару, можно сказать, еще повезло. Если бы милиция забрала мешки с фундуком как вещественное доказательство в Гах, он однозначно лишился бы их полностью. Потому как, по утверждению тех же аксакалов, еще ни одна вещь, вывезенная из Зогаллы в районное отделение милиции, а позже и полиции как вещественное доказательство, назад не вернулась.

Позже, когда суд определил Кариму наказание в три года лишения свободы, мнения разделились, многие зогаллинцы сочли его несправедливым. Они почему-то решили, что срок наказания судом определен, исходя из количества украденных мешков – якобы каждый украденный мешок тянул на один год отсидки. По их мнению, если за каждый украденный мешок положен год тюрьмы, несправедливо при этом приравнивать желтые мешки к белым. Желтые мешки, как известно, в объеме в полтора раза превосходят белые. Поэтому расчеты дотошных зогаллинцев расходились с решением суда. Если за основание брался белый мешок, тогда получалось, что суд еще пощадил Карима, скостив из наказания целый год. Но если брался в расчет желтый мешок, получалось, что Кариму предстояло отсидеть лишних полгода.

С решением суда в Гахе пошатнулись позиции сторонников шайтана в Зогаллы. Пошатнулся и авторитет Кара-дайы, как аксакала и автора гипотезы о влиянии шайтана на поступки его земляков. С того дня сам Кара-дайы тоже перестал прислушиваться к указаниям шайтана и начал борьбу с ним.

Историю преследования его шайтаном и позже историю его изгнания Кара-дайы рассказал мне, по традиции, во время нашей очередной посиделки. Хотя Кара-дайы тогда был навеселе, история мне показалась очень занимательной, поэтому в дальнейших наших беседах я часто интересовался у него, как обстоят дела с шайтаном.

\*\*\*

Кара-дайы всегда преследовал один-единственный шайтан.

– Он был всегда один, это уж я точно помню, – сегодня с некоторой настороженностью рассказывает Кара-дайы, боясь, видимо, его возвращения.

Кара-дайы даже помнил день, когда этот самый шайтан начал его преследовать. Оказывается, преследования начались в день гибели любимого петуха Кара-дайы, которого он называл в честь своего боевого командира Кузнецовым.

В тот день, по словам Кара-дайы, с самого утра он чувствовал себя неважно. Утром под старой айвой он обнаружил мертвую молодую курицу. Несколько лет назад Кара-дайы на ветках айвы оборудовал шесты, на которых летом ночевали его птицы. Смерть курицы озадачила Кара-дайы, так как ничем его птицы не болели. В поисках причины гибели курицы он целый час бродил по двору, пока не заметил, что его любимый петух Кузнецов слегка прихрамывает на левую ногу. Как матерый разведчик, Кара-дайы тут же определил причинно-следственную связь между гибелью курицы и прихрамыванием петуха. «Курица погибла по той причине, что уснувший в ночное время Кузнецов (после тяжелой дневной службы) сорвался с верхнего шеста и убил курицу своей тяжестью, потому как она сидела на нижнем шесте», – решил Кара-дайы, стараясь успокоить себя. «Хорошо хоть, Кузнецов остался цел, хотя и получил травму», – для себя он находил утешение в этом, но ему почему-то легче не становилось. С одной стороны, он жалел нелепо погибшую курицу, с другой стороны, семья Кара-дайы лишилась целого обеда, если подумать о прямом дальнейшем предназначении погибшей курицы, если бы она была жива.

Поэтому с утра Кара-дайы ходил по двору без настроения. Кара-дайы решил достойно предать землю погибшую курицу, чтобы ее, уже мертвую, не разодрали собаки. Взяв лопату, он в фундуковом саду закопал ее, тем самым желая как-то отвлечь себя. Как потом он мне рассказывал, даже после захоронения курицы у него было такое ощущение, что с её гибелью сегодняшние неприятности не закончатся. «Это еще не всё, это только начало, – будто кто-то ему подсказывал. – Жди, сегодня обязательно случится!» И ему ничего не оставалось, как ходить по двору и ждать – что именно случится?

Еще с вечера жена Кара-дайы готовилась утром съездить в гости к старшей дочери, которая жила с родителями мужа, навестить ее больного свекра. Свекор, оказывается, два дня назад упал с коня и вывихнул ногу. Не проведать больного родственника в Зогаллы считается признаком недостаточного сочувствия. Как бы там ни было, сколько жена ни уговаривала Кара-дайы ехать вместе с ней, тот не согласился, объясняя это тем, что дом и хозяйство нельзя оставлять без присмотра.

– Езжай ты завтра, проведай, а я как-нибудь на днях съезжу и навещу, – уговаривал-таки он жену, и она нехотя согласилась. – Тоже мне, болезнь, упал да ногу вывихнул, главное, конь жив-здоров, – посмеялся еще Кара-дайы.

С утра жена Кара-дайы уехала к дочери, забыв при выходе со двора закрыть железную калитку. Тем и воспользовался Кузнецов, и через час его не стало.

Смерть Кузнецова получилась нелепой: выйдя на улицу, прихрамывая, он не смог определить приближающуюся опасность в лице трактора, управляемого Сулейманом, и не уступил ему дорогу. А Сулейман, как он позже оправдывался, до последнего надеялся, что Кузнецов спрыгнет с дороги, поэтому не стал сбавлять скорость своего железного коня. В итоге трактор остановился лишь после того, как переехал голову беспечного петуха.

Когда Сулейман с раздавленным Кузнецовым вошел во двор Кара-дайы, тот копошился на скотном дворе. Когда Кара-дайы увидел истекающего кровью любимого петуха в руках Сулеймана, ему стало как-то не по себе. Сулейман виновато улыбался и только через две минуты тихо сказал:

– Вы уж извините, Кара-дайы, видно, вашему петуху столько было написано жизни, – хотел пошутить Сулейман. – Голову отрезал я, пока он еще теплый был. Не пропадать же добру, – оправдывался он.

Но когда Сулейман понял, что Кара-дайы не до смеха, он стал дальше оправдываться:



– Поверьте, Кара-дайы, я не специально! Не петух, а террорист-смертник! Рассказать, никто не поверит. Сам бросился под колесо.

И замолчал Сулейман. Кара-дайы забрал убитого петуха из его рук, потом указал Сулейману на дверь и приказал:

– Свободен!

Сулейман готовился к более бурной реакции Кара-дайы, поэтому быстро удалился.

Кара-дайы отнес Кузнецова под навес, положил тушку на стол. Раздавленная тяжелым трактором Сулеймана и похожая на лепешку голова петуха лежала рядом. Кара-дайы присел на стул и задумался; он не хотел верить своим глазам. Кузнецов был гордостью его двора, лучшим петухом в его хозяйстве за все годы. Кара-дайы решил закопать тушку Кузнецова и его раздавленную голову в фундуковом саду рядом с погибшей ночью курицей, отдав должное его кропотливой работе в курятнике.

– Хотел его тоже достойно похоронить! Тем более, он носил имя моего боевого командира, – вспоминал позже он.

Перед процессом захоронения Кара-дайы, чтобы как-то утолить горе от случившегося, спустился в подвал и выпил две стопки кизиловки.

– Всего две стопки, – позже, рассказывая мне эту историю, он обязательно упоминал количество выпитого им спиртного, тем самым указывая на то, что от такого мизерного количества он не мог потерять голову. И давая понять, что в последующих его действиях спиртное было ни при чем.

– Всё остальное было проделками шайтана, – оправдывался он. – Видимо, шайтану легче сбить с толку людей, выпивших спиртного, – дальше рассуждал Кара-дайы. – С другой стороны, с помощью спиртного шайтана можно и прогнать, если ты выпиваешь осознанно и против него.

В дальнейшем, между прочим, по его рассказам, Кара-дайы именно этим способом часто избавлялся от преследований назойливого шайтана.

Как бы там ни было, этих двух стопок хватило шайтану, чтобы сбить Кара-дайы с истинного пути. Поднявшись наверх, Кара-дайы стал смотреть на петуха другими глазами:

– Я спустился в подвал одним человеком, вышел оттуда другим. Когда я спустился, на столе лежало безжизненное тело любимого мною Кузнецова. А когда я поднялся – увидел перед собой упитанного петуха, которого сам Всевышний велел разделать и отправить пряником на сковородку! И я забыл, что это Кузнецов! Шайтан стал подсказывать мне, что если поджарить этого петуха, да еще с лучком и томатом, можно на обед не только сытно поесть, но и еще несколько стопок дополнительно пропустить.

– Всё равно, рано или поздно ты зарезал бы его, – говорил ему шайтан. – Одним днем раньше, одним позже. Тем более, Сулейман отрезал его голову, пока он был теплый, – уговаривал шайтан Кара-дайы.

И уговорил-таки. Послушав шайтана, Кара-дайы взял тушку Кузнецова и через забор кликнул Сулеймана. Тот моментально явился к нему во двор. Указав на петуха, Кара-дайы приказал:

– Пусть твоя жена поджарит его на обед. Не пропадать же добру. Моей жены дома нет, к дочери уехала, так что обедать будем у тебя.

Сулейман с петухом помчался к себе во двор.

За обедом они с Сулейманом выпили столько, что после этого Сулейман три дня не садился за руль трактора. Куры и индюки соседей три дня безбоязненно гуляли на улице.

Именно этот случай Кара-дайы считает первым вторжением шайтана в его жизнь, первым его наущением.



– Я никогда не съел бы Кузнецова, закопал бы в саду с почестями, – оправдывается он по сей день. – Всё, что случилось, это проделки шайтана, – говорит Кара-дайы. – А так – считай, что съел своего «боевого товарища», – стыдится Кара-дайы, но, вспоминая тот день, обязательно при этом отмечает жену Сулеймана:

– Жена Сулеймана хорошо орудует на кухне, умелая хозяйка, петуха она поджаривает намного лучше, чем моя жена. И это надо признавать, – не забывает Кара-дайы при этом поблагодарить жену Сулеймана за вкусный обед, как бы подчеркивая, что проделки шайтана на жену Сулеймана в тот день не распространились.

– Если бы не Сулейман со своим трактором, я по сей день восхищался бы Кузнецовым, – с тоской вспоминает Кара-дайы, наблюдая за курами во дворе.

Кстати, наблюдение за курами всегда было любимым развлечением Кара-дайы. Наблюдая за ними, он сделал не одно открытие. Как-то, когда еще жив был Кузнецов, во время очередного своего наблюдения Кара-дайы позвал меня к себе и спросил:

– Вот ты у нас грамотный, в Русете институты закончил. Скажи-ка мне, пожалуйста, почему курицы убегают от петуха, когда он хочет топтать их?

Я посмеялся:

– Я вообще-то специалист не по курицам, так что не скажу.

Кара-дайы тут же перебил меня:

– Все нормальные мужчины – они специалисты по курицам, понял?

– Понял, – продолжал я смеяться, надеясь на очередное открытие со стороны Кара-дайы. Ждать пришлось недолго.

– Запомни, когда курица убегает от петуха, она всегда думает: «Не слишком ли быстро я бегу?»

– Так они еще и думают? – не удержался я.

– А ты как хотел? Побег курицы от захотевшего ее петуха – это своеобразный ритуал. У них так принято. В курятнике всё зависит от петуха, как в нормальной семье – от мужа. За столько лет наблюдений я сделал вывод: чем слабее петух, тем быстрее и дальше от него убегают курицы. А если петух сильный, уверенный, как мой Кузнецов, тогда они не убегают, а только ждут его клича. Не веришь? Посмотри, как сейчас мой Кузнецов разделается с рябой курочкой!

Кара-дайы напрягся в ожидании дальнейших действий любимого петуха. Делать было нечего, я тоже стал смотреть.

Первым делом Кузнецов на своем петушином языке отправил «депешу» этой рябой:

– Ку-куры!

Курочка, следуя врожденному куриному инстинкту, хотела было кокетливо сигануть от захотевшего ее петуха. Но тут Кузнецов предупредил ее еще грознее:

– Ку-куры!

Рябая моментально легла на землю, опустив голову, будто в эту минуту над ее головой пролетел самолет. Тем временем Кузнецов не спеша подошел к ней, надменно задрав одну лапу, залез на нее, потянул вторую. Потоптав курицу, он спустился и издал победный клич:

– Ку-куры! – мол, «Довольна ли ты осталась?» – спросил он у курицы.

– Кукууры, – в ответ благодарно вымолвила курица, – мол, «Еще бы!»

По крайней мере, так я понимал ситуацию и, видимо, не ошибся.

– Видишь, вот таким хозяином надо быть в жизни! У Кузнецова больше пятидесяти кур, но он мастерски ими управляет. Поэтому в его курятнике всегда порядок. И курицы все довольны. Я не раз замечал, как соседские курицы тоже перелетают к нему. Знаешь, почему? Потому что у соседней петухи слабые, не могут нормально делать свое дело. Вот и залетают их куры ко мне во двор. Я лично ничего против этого не имею. Кузнецов настоящий петух и топчет, как положено.

– Как он топчет, мы, конечно, не знаем, – поддел я Кара-дайы.

– Может, ты и не знаешь, а я знаю. Топчет он хорошо! Пятьдесят кур и все довольны! – восхищался Кара-дайы Кузнецовым. – А у людей, думаешь, по-другому? У людей то же самое! Женщину мало любить на словах, ее еще надо топтать! Понял? Не будешь топтать ты свою жену, потопчет другой. Будет она обязательно смотреть в сторону и найдет себе другого петуха! Или ее будет топтать здоровый сосед, или кто-то другой. Нельзя их оставлять без присмотра. Такова у женщин натура...

Я смотрел на черный затылок Кара-дайы, восхищался его философией, тем более, что наше наблюдение за курами происходило перед обедом. Обед обещал быть интересным.

А Кара-дайы тем временем завершил наблюдение. Мы оба встали, но прежде чем уйти к накрытому в комнате столу, Кара-дайы в последний раз проводил глазами любимого петуха и добавил:

– Пятьдесят кур и ни единой жалобы! А мы одной женой-мугалкой не можем управлять, – с нескрываемой завистью к Кузнецову завершил Кара-дайы, и мы перешли в залу.

В период преследования шайтаном Кара-дайы не только успешно отбивался от него, но и, как он позже похвастался в разговоре со мной, «ударился в науку». Воодушевленный успешным внушением зогаллинцам о существовании злых духов, Кара-дайы в те годы создал «учение», предостережениями которого, по его словам, должны были пользоваться не только зогаллинцы, но все азербайджанцы.

Как человек, волею судьбы оказавшийся в научной академической среде, однозначно могу заявить, что «учение» Кара-дайы ничего общего не имеет с научным открытием в общепринятом его значении. Более того, как мне кажется, и тут, видимо, не обошлось без влияния того самого шайтана, который терроризировал тогда Кара-дайы. Ибо буквально через несколько лет Кара-дайы стал жертвой собственной беспечности и самоуверенности, которые предусматривались его «учением» как сама собой разумеющаяся форма поведения после достижения определенного возраста.

На самом деле так называемое учение Кара-дайы заключалось в анализе его многолетнего общения с представительницей мугальского сообщества, точнее, с собственной женой. Я как-нибудь обязательно напишу подробно об этом так называемом «учении». Если коротко, суть его «учения» заключалась в том, что якобы им была разработана уникальная методика, которая позволяла безошибочно определить, попала ли тебе в жены мугалка.

– Хорошо, если она сразу признается о своих мугальских корнях, – воодушевленно говорил Кара-дайы, как только речь заходила о нем, – а сколько «скрытых мугалок» по стране выходят замуж за порядочных наших парней? А потом раз, и преобразуются? Считать, не сосчитать, – подняв брови дугой, Кара-дайы обозначал глубину проблемы.

С одной стороны, «учение» Кара-дайы, по его утверждению, позволяло заблаговременно узнать происхождение будущей жены и избежать женитьбы на ней, если обнаружится, что она мугалка. А с другой стороны:

– Если уж тебе попала в жены мугалка, как моя, скажем, – предупреждал Кара-дайы в своем «учении», – главное – держаться и не поддаваться ей до шестидесяти лет, точнее, до пенсии.

После шестидесяти лет, согласно «учению» Кара-дайы, мугалки, увидев тщетность своих попыток превзойти мужа, наконец-то успокаиваются. А до шестидесяти лет, предупреждал Кара-дайы, надо быть начеку, потому что мугалки только и ждут подходящего момента, чтобы взять власть в семье в свои руки, ежедневно применяя разные способы, пробуя всевозможные методы.

– Надо же, вот об этом как раз я не знал, – когда Кара-дайы в первый раз по-

свящал меня в тонкости своего открытия, на этом месте я выразил искусственное удивление и тем самым призвал его к более детальному объяснению.

– Я по себе сужу. Думаешь, моя не пробовала? – Кара-дайы большим пальцем указал в сторону кухни, где в это время работала его жена. – Еще как пробовала. Моя мугалка, я тебе скажу, всем мугалкам мугалка. Это она со стороны такая покладистая. Вся жизнь она мне хотела подсказывать: делай то, делай другое! Но я обрубил на корню все ее попытки:

– Я в этом доме, в моей семье должен тебе подсказывать, что и как делать! – сказал я ей. – А твоя задача – молча выполнять! Не нравится – вот тебе дорога, забирай свои ведра и до свидания!

Кстати, и по сей день возможный уход жены из дома Кара-дайы каждый раз связывает с теми ведрами, с которыми он умыкал ее еще до войны, демонстративно подчеркивая, что, с одной стороны, в случае ухода жены ему ничего от нее не нужно. С другой стороны, давая понять, что в случае ухода жене не полагается никакой материальной компенсации, кроме тех двух ведер.

– Да, а что мне с ней церемониться-то? – завелся Кара-дайы. – Всю жизнь только и делает, что бурчит! Бурчит, бурчит, бурчит... А я терплю и подсказываю, что надо делать. Сама никогда не догадается. У них фамилия такая, недогадливая! У них род такой, мугальский, недогадливый! Вот сейчас, к примеру, сидим мы с тобой в холодной комнате и мерзнем. Знаешь почему?

– Почему? – спросил я и согласился с Кара-дайы. В комнате действительно было холодно, хотя было выпито достаточно кизиловки.

– Всё потому же! Я должен ей сказать, чтобы она пришла и затопила бухару. Сама не догадается никогда, будет себе ходить по холодному дому, как медведь северный, и не догадается, что, может, другим холодно, может, пора бухару топить. Зима на улице, знает же ведь прекрасно, что не люблю я холод! Не люблю и всё! Делай мужу приятное, вот столько дров заготовил я! Если завтра помру, с собой их в могилу не заберу, никто еще могил не топил! В доме должно быть тепло, человек должен жить в тепле! Человек столько лет живет с тобой, вытащил тебя из дыры, пришла на всё готовое. Куда там! – Кара-дайы выстроил целую тираду претензий к жене, в очередной раз подчеркнув, что она должна быть благодарна судьбе, что оказалась в этом доме, в этом дворе.

Честно говоря, бухару мог истопить сам Кара-дайы тоже, или же он мог меня попросить, в конце концов. Особого искусства это занятие не требует, к тому же, гора сухих дровишек лежала возле бухары, ожидая своей участи.

Но я догадывался: согласно «теории» Кара-дайы, должно произойти дальнейшее обострение ситуации, поэтому в знак согласия я покивал головой. Кара-дайы будто этого и ждал:

– Растопи бухару! – неожиданно даже для меня закричал он в сторону кухни. Через минуту со стороны кухни показалась жена Кара-дайы.

– Сколько раз можно объяснять тебе – не люблю я холод, понимаешь? – продолжал кричать Кара-дайы.

Но жена Кара-дайы действительно еще та мугалка, ее криком не возьмешь:

– Бухара горит, посмотри, чтоб твои глаза ослепли, посмотри, – походя бурчала она. Я удивился наглости и смелости жены Кара-дайы, утверждающей, что бухара горит. На самом деле в бухаре ничего не горело, она была пуста.

– Горит, горит, – повторял Кара-дайы слова жены. – Мне виднее, горит она или нет. Сказано – подбрось дровишек, значит, подбрось!

Жена Кара-дайы положила в бухару несколько дровишек, потом меж дровишек засунула кусочек старой газеты, который достала из кармана, подождала, постояла с минуту, убедившись, что огонь разгорелся, что-то пробурчала себе под нос и ушла.

– Видишь, какие они, – говорил вслед Кара-дайы. – Еще и недовольна, видишь. А сама только и делает, что мне указывает – как жить, что делать. Мне не нужны ничьи подсказки! Я, как мужчина, есть управленец своего дома. Поэтому я сегодня и хожу с гордо поднятой головой, а шея, – Кара-дайы наклонил голову передо мной, показал свою черную волосатую шею, похожую на шею буйвола, и серьезно спросил: – Никто не сидит?

– Нет, – засмеялся я.

– И слава Аллаху, свободна моя шея и не болит. Вот так вот. Тебе тоже советую, между прочим, слушаться меня! – сказал Кара-дайы, на этот раз движением бровей обозначив глубину последствий, если я послушаюсь.

– Хорошо, – моментально согласился я.

Мой утвердительный ответ настолько понравился Кара-дайы, что его карие глаза засветились. Он радовался так, как радуется почтенный ученый, который на закате своих лет наконец-то встречает достойного последователя. Поэтому Кара-дайы моментально перешел к практической части своего учения, точнее, стал объяснять, как его учение реализуется в жизни:

– Никогда не поддавайся жене, всегда настаивай на своем! Запомни, с мугалками главное – до пенсии дотянуть. После шестидесяти они успокаиваются. У них порода такая. Я хорошо знаю психологию мугалок. Поэтому в своем доме я хозяин!

Действительно, к семидесяти годам позиции Кара-дайы в семье были очень устойчивыми. Он управлял женой, как и в молодые годы, твердой рукой! Командовать ему нравилось с войны.

Как глава семьи, Кара-дайы обладал немалыми привилегиями и, надо признать, сполна пользовался ими. Дома, за обеденным столом, с молчаливого согласия жены и дочерей, у него имелось постоянное, строго охраняемое место. Из большой фаянсовой кружки с позолотой только он мог пить чай с халвой, больше никто! Кроме того, у него имелись и другие привилегии. Например, когда дома резали петуха, курицу или индюка, лучшие части обязательно подавались ему. Жена Кара-дайы, если и имела право голоса, то только на местных и республиканских выборах. Между прочим, пока не забыли, – выборы являлись единственным массовым мероприятием, куда Кара-дайы обязательно брал с собой жену. Даже далекие от политической жизни страны зогаллинцы, рано утром увидев на улице Кара-дайы с женой, направляющихся в сторону сельского клуба, где, как правило, размещался участок для голосования, догадывались, что в стране начались очередные выборы. А дома жена Кара-дайы не имела права голоса.

Ситуация изменилась как-то неожиданно. Видимо, зря все-таки хвастался Кара-дайы своей методикой. К восьмидесяти годам его позиции в доме вдруг пошатнулись, и принцип единоначалия в управлении семьей, которым он пользовался, начал давать сбои. Стало ясно: у Кара-дайы имеются пробелы в изучении психологии мугалок.

Говоря политическим языком, давление со стороны жены и дочерей (которые если и не были полнокровными мугалками, то, как минимум, являлись полумугалками) нарастало с каждым днем и было направлено на снижение статуса Кара-дайы в семье. Результат не заставил себя долго ждать. Кара-дайы выбрал, как это ни грустно сегодня признавать, не самое разумное решение. Он как-то очень быстро капитулировал, хотя и с оговорками. Авторитарный стиль управления в отдельно взятой семье логически приблизился к своему завершению. Жена Кара-дайы, вопреки методике своего мужа, после ухода на пенсию и не подумала «окончательно успокоиться», – наоборот, в разговорах с мужем стала вести себя более наступательно. Кара-дайы, как бы он этому ни сопротивлялся, стал постепенно уступать свои позиции. К тому же на стороне наступающей жены, как мы уже отметили, стали выступать дочери. Зятя, которые больше склонялись к тому образу жизни, который вел Кара-дайы, выразить свою позицию открыто почему-то не стали.

Первым делом коалицией (женой и дочерьми) был наложен запрет на употребление Кара-дайы спиртных напитков, якобы из гуманных соображений. Домашние ссылались на его ослабевшее с годами здоровье. Кара-дайы возражал, сопротивлялся, и, тут надо отдать ему должное, он категорически не согласился с полным запретом. В итоге стороны сошлись на существенном ограничении в употреблении спиртного. Правда, и тут Кара-дайы сразу не сдался, попросил отсрочку:

– Так и быть, – сказал он своим, – после осенних деревенских свадеб буду пить только по большим праздникам.

После осенних свадеб жена и проживающая с ними дочь усилили контроль за поведением Кара-дайы, не всегда разрешали ему спускаться в подвал за желанным продуктом. Но к тому времени Кара-дайы успел по всему дому и во дворе соорудить несколько тайников, где в маленьких бутылках стал хранить на всякий случай любимые напитки собственного изготовления. Как-то он мне признался, что таких тайников у него пять – два в скотном сарае, два на чердаке и один тайник – на втором этаже каменного дома, где у него телевизор. Обещал даже показать, где они находятся, правда, потом передумал:

– Когда надо будет, тогда покажу. Пока рано, – сказал он.

Одним словом, Кара-дайы, хотя и согласился на некоторые ограничения, но пить меньше не стал – как пил раньше, так и продолжал пить сейчас. Правда, открытости стало меньше. Борьба с любимыми формами автократии, как известно из той же западной политологии, если она не носит революционного характера, как правило, рано или поздно забуксовывает и терпит неудачу. При этом не имеет значения, где эта борьба ведется – в политической жизни общества или в отдельно взятой семье. Возможно, именно на это и надеялся далекий от политологии Кара-дайы.

Как бы там ни было, Кара-дайы стал больше слушать жену. И будь неладен тот день, когда он в очередной раз послушал ее и пошел навестить самого великовозрастного жителя Зогаллы – умирающего Аллаверди-бабу.

\*\*\*

Любой зогаллинец и сегодня подтвердит вам, что Кара-дайы и Аллаверди-баба не были заклятыми врагами. Никакой видимой вражды и яркой ненависти между ними не было. То, что они терпеть не могли друг друга – это правда. Почти век прожили в одной деревне бок о бок, но не общались.

История взаимной неприязни уважаемых в Зогаллы аксакалов берет свое начало с далекой деревенской свадьбы начала прошлого века, где тогда еще молодой, двадцатилетний Аллаверди был смотрителем танцевального магара и с кизилковым прутиком в руке охранял магар от набегов детей. Высокий и худой Аллаверди, скорее, имитировал охрану, проходя по кругу. Отчасти, видимо, и дети пользовались медлительностью охранника, нарушая правила. Больше всех в тот вечер, оказывается, на круг забегал шестилетний маленький и непослушный Кара. Поймав его каким-то образом при очередном нарушении, уставший от предупреждений Аллаверди грубо скрутил уши маленькому Каре. По словам же Кара-дайы, как в наши дни он мне рассказывал, Аллаверди-баба тогда не только скрутил ему уши, но и поднял его за эти самые уши вверх, сделал круг по магару, хвастаясь перед гостями свадьбы добросовестным несением службы и пойманым нарушителем. «Как обычно хвастается охотник перед своими друзьями подбитым зайцем», – говорил Кара-дайы, вспоминая ту свадьбу. И только после того, как все гости увидели нарушителя, Аллаверди, оказывается, отвел Кару в сторону и бросил его на землю.

Круг с высоко поднятым за уши Карой, по мнению большинства зогаллинцев, придуман позже им самим. Тем самым, якобы, он хотел дать обоснованное объяснение своей обиды на Аллаверди-бабу. Учитывая склонность Кара-дайы к преувеличе-



нию всего случавшегося с ним, трудно не согласиться с зогаллинцами. К тому же детская боль, как правило, запоминается на всю жизнь.

– Уши три недели после этого горели, – опять-таки в наши дни признавался мне Кара-дайы, вспоминая тот вечер. – Дети смеялись надо мной так, что надо было видеть. Представь себе черную обезьяну с красными ушами, – вот на кого был я похож, – говорил Кара-дайы и грустно смеялся над самим собой. Между прочим, Кара-дайы часто высмеивает самого себя, и я не раз слышал, как он сравнивал себя с обезьяной. Но не дай Аллах, если это сделает кто-нибудь другой.

Одним словом, поплавав от боли и бессилия с полчаса в сторонке, маленький Кара, который с раннего детства выделялся среди сверстников особым сквернословием, оказывается, вернулся, подождал, когда зурначи останоятся, вышел на середину магара и во всеуслышание громко выругал молодого тогда Аллаверди:

– Ты мне скрутил уши! Запомни, вырасту, я тебе яйца скручу! – и убежал.

Смущенный Аллаверди даже не предпринял попытки поймать его.

С тех пор в течение больше восьмидесяти лет, до самой смерти Аллаверди-бабы, они не общались между собой. Правда, когда Кара-дайы вернулся с войны, Аллаверди-баба минут на десять заглянул к нему, сухо поздравил его с благополучным возвращением и ушел. И когда отмечали девяностолетие Аллаверди-бабы, после долгих уговоров Кара-дайы согласился присутствовать за праздничным столом. И всё!

Изучение отношений между Кара-дайы и Аллаверди-бабой лишний раз дает основание некоторой части сегодняшней зогаллинской молодежи сомневаться в правдивости постулата о мудрости аксакалов и о взвешенности их поступков. Подобные утверждения они считают преувеличенными, хотя другая, более сознательная часть молодежи не перестает восхищаться каждым стариком в отдельности, пройденной им достойной жизнью. Мне лично, конечно, ближе и дороже Кара-дайы, как близкий родственник и старейшина нашего рода. С другой стороны, Аллаверди-баба тоже прожил долгую, нелегкую, достойную подражания жизнь. Поэтому, что бы там ни говорила зогаллинская молодежь, отдельно взятого каждого зогаллинского аксакала можно ставить в пример не только местному подрастающему поколению, но и мугальскому тоже.

\*\*\*

О доблестной жизни Кара-дайы сколько ни пиши, всё равно будет мало. Не напишешь ты, напишет другой. Такая у него харизма, однажды пообщавшись с ним, навсегда будешь им очарован и будешь к нему тянуться.

Но в Зогаллы на протяжении всего прошлого века жил старик, который в местном масштабе был ничуть не меньше известен, чем Кара-дайы, уважали его зогаллинцы даже больше, чем нашего Кара-дайы. Повествование о Зогаллы было бы однобоким и предвзятым, если бы кто-то решил обойти стороной его светлую и длинную жизнь. Речь пойдет об Аллаверди-бабе, которому, как это ни прискорбно, перед тем, как тот покинул земную жизнь, нагрубил Кара-дайы.

– Шайтан попутал меня, – вспоминает сегодня Кара-дайы. – Анас-сыны (*азерб. проклятье – Ред.*) того шайтана! Это не я был, это были проделки шайтана!

Задним числом мы все горазды списывать свои ошибки на проделки шайтана, что уж сегодня говорить. Давайте всё по порядку, пусть читатель сам определит, чьи это были проделки.

Аллаверди-баба с рождения был чудным творением природы. К шестнадцати годам он вымахал ростом под два метра и стать бы ему высокорослым красавцем, если бы не одно обстоятельство. Обстоятельство это уникально во вселенском масштабе и связано с тем, что, имея такой рост, он неуверенно держался на ногах, с раннего детства при ходьбе часто падал. А причиной частого падения служили его



маленькие ступни его ног. Сегодня ни один криминалист не поверит, если рассказать ему, что человек под два метра ростом имел тридцать восьмой размер ноги. Хотя, по словам учителя истории зогаллинской школы Байрам-муаллима, великий русский царь Петр Первый тоже страдал подобной диспропорцией между ростом и размером ноги, но она не помешала ему создать новую Россию, потому что, оказывается, в отличие от Аллаверди-бабы, при ходьбе он не падал. Другой учитель зогаллинской школы, преподаватель биологии Тельман-муаллим, именно несоответствием высокого роста и маленьких ног объяснял причину частых падений в детском возрасте Аллаверди-бабы. Помнящие детские кульбиты Аллаверди-бабы зогаллинские аксакалы рассказывали, что в детстве, когда тот пытался бежать, он не только падал, но обязательно еще и кувыркался после падения. К двадцати годам из-за падений молодой Аллаверди успел сломать все возможные кости организма, на которых держалось его высокое тело.

– На переломах Аллаверди я научился лечить людей, – позже признавался костоправ Юсиф-киши, который считался лучшим специалистом своего дела не только в Зогаллы, но и в близлежащих деревнях. При лечении переломов костоправ Юсиф-киши при наложении шины на место перелома пользовался не гипсом, а раствором, сделанным из яичного желтка и муки.

От частых падений у Аллаверди-бабы больше всего страдали трубчатые кости бедра, не знали покоя кости локтей и кистей. Доходило до того, что сломанные короткие кости, например фаланги пальцев, никто за травмы не считал. А сколько связок было порвано при падениях – тоже не сосчитать. Однажды при падении он сломал себе левое ухо, ударившись о край дубового бревна, и тем самым поставил в крайне неудобное положение костоправа Юсиф-киши. Тот, сколько ни старался, так и не смог наложить раствор на место повреждения.

К тридцати годам Аллаверди-баба вроде бы нашел баланс между высоким ростом и маленьким размером ноги, приловчился к безопасной ходьбе и хотя падать не перестал, но делал это реже, чем в былые годы. Начало войны он встретил с шиной, на этот раз на правой руке, умело наложенной всё тем же костоправом. Но, как бы там ни было, именно по причине биологической диспропорции тела его не призвали на войну. Как ни странно, только после войны Аллаверди-баба перестал падать при ходьбе, подобно ребенку, наконец-то научившемуся ходить.

– Хитрый он был, ждал, когда война закончится, – язвил Кара-дайы по этому поводу.

Научившись уверенно держаться на земле, впоследствии Аллаверди-баба настолько плодотворно сотрудничал с ней, что долгие годы считался лучшим садоводом, а позже и овощеводом в Зогаллы. Из всех видов фруктов предпочтение он отдавал яблокам. У себя во дворе он вырастил большой яблоневый сад из разных сортов яблонь. Созревали яблоки, начиная с июня месяца и до самой глубокой осени. По вечерам Аллаверди-баба сидел на улице, перочинным ножом чистил яблоки и угощал собравшихся вокруг себя соседских детей. К семидесяти годам его потянуло еще и к овощам. В то время он был единственным зогаллинцем, который выращивал огурцы в теплице. Сегодня, вспоминая Аллаверди-бабу, зогаллинцы как-то забывают про яблоневый сад, а в первую очередь говорят о теплице с огурцами. Точнее, теплицу никто не вспоминает, вспоминают только огурцы. Дело в том, что Аллаверди-баба любил угощать земляков первым урожаем огурцов из своей теплицы. Собирал он первый урожай огурцов в большое пластмассовое ведро, выходил на улицу и сидел на лавочке. Угостив детей, он предлагал угощаться огурцами всем проходящим мимо, делая им «непристойное» по своему содержанию предложение:

– Угощайтесь моими свежими огурцами, – говорил он.

«Непристойность» предложения усиливалась, когда он рукой показывал на огурцы, находящиеся в ведре между его ногами.

Взрослые мужчины и женщины, как правило, смеялись над предложением Аллаверди-бабы, но не отказывали ему, подходили и брали огурцы. Молодые женщины, ошеломленные подобным предложением, первым делом краснели, но тоже не могли устоять перед настойчивым приглашением Аллаверди-бабы. Чтобы не обидеть старика, они смущенно подходили и угощались его свежими огурцами. Аллаверди-баба оставался довольным и спокойно зывал следующих.

Кроме спокойного характера, любви к яблокам и огурцам, Аллаверди-баба славился еще своими серебристыми усами, которые зогаллинцы считали самыми большими в округе. За огромные усы старики сравнивали его с национальным героем Азербайджана Кёроглу, а молодежь – с русским маршалом Будённым. В интеллигентной зогаллинской среде второе сравнение считалось более правдоподобным, потому как фотографию Буденного в то время часто печатали в газетах и журналах. Хотя при сравнении кроме больших усов в них тяжело было найти еще какое-то сходство. Что касается Кёроглу, то сравнение с ним провести было трудно, потому что никто из зогаллинцев не видел Кёроглу не только живым, но и на фотографиях. Не считая, конечно же, Кара-дайы, который, якобы, несколько раз во сне виделся и даже разговаривал с героем.

Между прочим, сравнение Аллаверди-баба с Кёроглу приводило Кара-дайы в бешенство:

– Какой еще Кёроглу? – возмущался он всякий раз, когда речь заходила о сходстве Аллаверди-бабы с национальным героем. – Нет еще, Дамирчиоглу! Он даже на Кечал Гамзу не тянет! Я-то уж знаю, что говорю, – решительно заключал Кара-дайы, будто всех героев эпоса «Кёроглу» он знал в лицо и здоровался с каждым делибашем в отдельности.

Стоило Аллаверди-бабе появиться на улице, как моментально начиналось:

– Пожалуйста, глядите, чем не Кёроглу? – говорили одни, забывая при этом, что у Кёроглу кроме больших усов были и другие, более весомые достоинства, благодаря которым он прославился в свое время и навсегда остался в памяти народа.

Вторые не отставали от первых:

– Настоящий маршал Будённый! – говорили они, увидев Аллаверди-бабу.

А настоящий маршал Будённый тогда еще был жив и здоров, проживал где-то в Москве и, естественно, не догадывался, что в далеком Зогаллы живет старик, которого сравнивают с ним. Маршалу было не до Аллаверди-бабы. В отличие от Аллаверди-бабы, к жизни он относился более рационально. Несмотря на почтенный возраст, маршал часто баловался русской водкой из холодильника, особенно в послеобеденное время, хотя не прочь был пить и по утрам. Впрочем, данное увлечение в умеренных количествах в Зогаллы никогда не считалось порочащим достоинство мужчины, тем более, если это касалось уважаемого маршала.

Аллаверди-баба не возражал против таких сравнений; будучи человеком добродушным и спокойного нрава, в ответ он только улыбался, гордо поглаживая свои огромные усы. Можно было только завидовать его спокойствию. Никто в Зогаллы и сегодня не вспомнит случая, при котором Аллаверди-баба повысил бы на кого-то голос. Со всеми он был вежлив и внимателен. Говорил он всегда литературным языком, взвешивая каждое слово и предложение.

За всю его длинную жизнь только однажды он вышел из себя. Что интересно, этот случай связан был как раз с его большими усами и с первым секретарем райкома Расимом Халыговичем.

Дело в том, что в 60–80-е годы прошлого века Аллаверди-баба считался лучшим колхозником в районе по уходу за тутовым шелкопрядом.

Шелководство в Зогаллы имеет богатую и давнюю историю. Как рассказывают аксакалы, этим промыслом они занимались и до Советов и при Советах. Раньше шелковичных червей в Зогаллы выводили интересным способом: засыпанные в мешочки

из ткани «семена» зогаллинские женщины несколько дней держали под мышкой или за пазухой, обеспечивая необходимое для них тепло и перемешивая их время от времени.

Уход за тутовым шелкопрядом в советские времена у нас в Зогаллы носил индивидуально-семейный характер, несмотря на коллективную форму труда для остальных видов сельскохозяйственных работ. Каждому колхознику вменялось в обязанность брать «семена» (мелкие яички) тутового шелкопряда к себе в дом, кормить и выращивать его у себя, а полученные в итоге коконы сдавать государству. Семена шелкопряда выдавались колхозникам бесплатно, средняя зогаллинская семья брала на выращивание от тридцати до пятидесяти грамм яиц тутового шелкопряда и сдавала государству в среднем три килограмма коконов на каждый взятый грамм. Аллаверди-баба, имея большие сады тутовых деревьев, на выращивание брал не меньше ста граммов «семян» и, несмотря на пенсионный возраст, успешно выращивал их и сдавал государству каждый год не меньше двухсот килограммов коконов. Так как выращивание тутового шелкопряда очень тяжелый и изнурительный труд, то без посторонней помощи одному человеку это не под силу. Аллаверди-баба помогали не только члены его семьи, в первую очередь, дочери и внуки. Недели на две во время сезона он также нанимал нескольких мугалов из соседней деревни, платя им по пять рублей в день.

Как-то, объезжая зерновые поля колхоза, первый секретарь райкома Расим Халыгович остановился возле тутового сада, заметив работающего в нем высокого седого старика с огромными усами. Когда ему сказали, что этот тот самый старик, который больше всех в районе сдает коконы государству, Расим Халыгович вышел из машины и напрямик направился в тутовый сад. Аллаверди-баба тогда еще не знал в лицо первого секретаря. Увидев приближающегося к нему мужчину в костюме и галстуке, догадался, что это кто-то из руководителей района. Тем более, что председатель колхоза, Ислам, стоял рядом чуть ли не по команде смирно.

Расим Халыгович поздоровался с Аллаверди-бабой с большим энтузиазмом:

– Аллах в помощь, аксакал! Чтобы руки ваши не знали усталости!

Аллаверди-баба ответил с намного меньшим энтузиазмом. Во-первых, руки его к тому моменту уже были уставшими, так как работали они с раннего утра. А во-вторых, Аллаверди-баба не любил афишировать свое предпринимательство, поэтому ему не очень хотелось, чтобы руководство района видело нанятых им рабочих. В те времена властям подобное не нравилось, хотя в районе все знали, что в сезон Аллаверди-баба нанимает рабочих. Ради выполнения плана власти на многое закрывали глаза. Поэтому Аллаверди-бабе наем рабочей силы со стороны пока сходил с рук. После крепкого рукопожатия, указав на рабочих, Расим Халыгович отметил:

– Всей семьей, вижу, трудитесь! Молодец, аксакал! Сами работаете и молодым пример показываете.

Аллаверди-бабе ничего не оставалось, как движением головы зачислить рабочих мугалов в члены своей семьи.

Потом Расим Халыгович поинтересовался у Аллаверди-бабы видами на урожай. Тут Аллаверди-баба привел несколько обязательных условий, при благополучном совпадении которых урожай должен быть неплохим, и указал на возможные причины, в случае которых (не дай Аллах!) урожая можно вообще не ждать.

– Будем надеяться, что всё будет хорошо, – резюмировал старик.

– Будем надеяться, – согласился Расим Халыгович, рукопожатием распрощался было с Аллаверди-бабой, но в последний момент не удержался и сделал ему комплимент:

– Усы у вас, аксакал, скажу вам, то, что надо! Усы настоящего мужчины!

В вопросе усов у Аллаверди-бабы годами была выработана четкая позиция, поэтому он твердо ответил:

– Да, усы для меня – дело принципиальное. Мои усы – продолжение традиций моего народа! Каждый уважающий себя мужчина должен носить усы, – парировал Аллаверди-баба мгновенно, и с высоты своего роста посмотрел на безусого первого секретаря.

Тот посмеялся, ответ Аллаверди-бабы ему понравился, и все же он сказал:

– Нельзя быть таким категоричным, аксакал. Сейчас многие не носят усов. Я тоже не ношу. Нельзя делать из своих усов культ!

– При чем тут культ! Наши отцы и деды испокон веков носили усы. Усы – это традиция народа!

Расим Халыгович почувствовал, что еще одно слово, и его собеседник закипит. Поэтому он обнял старика, улыбаясь, сказал ему:

– Да я пошутил, отец! Ну, не обижайтесь вы так.

– Тоже мне, шутник, – ответил Аллаверди-баба. – Из-за таких шутников, как вы, скоро вся нация останется без усов!

– Хорошо, хорошо, отец! – смеялся Расим Халыгович. – Я не хотел вас обидеть. Я хотел просто поинтересоваться, может, стоит вам немножко укоротить их по бокам все-таки, а? Мешают же, наверно, когда едите. И ухаживать легче будет за ними!

Лучше бы он этого не говорил. Рабочие-мугалы от неожиданности чуть не попадали с деревьев, когда Аллаверди-баба во весь голос ответил:

– Традицию народа нельзя укоротить, ее можно только приумножать! Если бы я ел с вашей тарелки, тогда вы имели бы право рассуждать, мешают они мне или нет во время еды! Но я ем со своей тарелки, и они мне ничуть не мешают! Неужели не ясно?

– Ясно, как же не ясно, – Расим Халыгович хотел успокоить Аллаверди-бабу. Но того невозможно было остановить:

– Запомните, недалек тот день, когда вся молодежь Зогаллы, последовав моему примеру, начнет отращивать усы!

– Верю, верю, – Расим Халыгович согласился со стариком, чтобы успокоить его.

– Всё идет отсюда! – направленным в воздух пальцем Аллаверди-баба указал первому секретарю райкома, откуда идут народу его традиции.

На этом они и разошлись.

...В тот год Аллаверди-баба сдал государству рекордное количество коконов и по указанию Расима Халыговича его, как передового колхозника, впервые пригласили на подведение итогов по коконоводству. Впоследствии это стало традицией, его стали приглашать каждый год, пока Расим Халыгович был первым секретарем. При встречах с Расимом Халыговичем они здоровались как старые добрые знакомые. Каждый раз, указывая на большие усы, Расим Халыгович шутя спрашивал:

– Ну что, аксакал, усы будем укорачивать?

И каждый раз Аллаверди-баба серьезно отвечал:

– Нет, не будем! Нельзя укорачивать гордость народа!

Если не считать этого случая и случая с маленьким Карой на свадьбе, Аллаверди-баба за свою долгую жизнь, можно сказать, никогда и ни с кем не повздорил. Он даже с детьми общался как со взрослыми. Никто от него не слышал плохого слова, на все деревенские мероприятия, будь то свадьба или похороны, он попевал в числе первых. На свадьбах, зная исключительную порядочность и честность Аллаверди-бабы, его, как правило, просили быть смотрящим над поварами. В те годы в Зогаллы на свадьбы не приглашали профессиональных поваров. Ими назначались местные мужчины, знакомые с поварским делом, умеющие вкусно готовить. Нередки были случаи, когда зогаллинские повара по ходу свадьбы напивались и начинали налево и направо раздавать приготовленную для свадьбы еду. Хозяева свадеб, назначая Аллаверди-бабу смотрящим над поварами, убедительно просили его, чтобы он вовремя пресекал бесконтрольное разбазаривание свадебной еды. И старался Аллаверди-баба

на славу – когда вся свадьба гуляла и плясала, он бдительно следил за целевым расходом содержимого огромных свадебных казанов.

На похоронах его усаживали во главе поминального стола, и прибывшие на похороны первым делом именно ему приносили свои соболезнования.

Долгую жизнь Аллаверди-бабы невозможно представить без его дочерей. Мугалы тут, конечно, сразу возразят, что жизнь любого родителя немислимо представить без его потомков. И конечно, где-то они, как ни странно, будут правы. Однако учитывая вклад дочерей Аллаверди-бабы в общественную жизнь Зогаллы, о них стоит сказать особо.

Аллах не дал Аллаверди-бабе сына, вознаградил его тремя дочерьми. Их мужья, будто сговорившись, один за другим и как-то очень преждевременно покинули наш мир. Еще раньше умерла жена Аллаверди-бабы. К моменту достижения отцом девяностолетнего возраста дочери Аллаверди-бабы сами являлись пенсионерами; старшей дочери было около семидесяти, а младшей больше шестидесяти лет.

Вместе с внуками и правнуками семья Аллаверди-бабы была большой, дружной и сплоченной ячейкой зогаллинского общества. В отцовском доме с Аллаверди-бабой осталась жить старшая дочь, дома младших дочерей тоже находились неподалеку от отцовского. Вклад дочерей в общественную жизнь Зогаллы, как мы уже отмечали, несмотря на их преклонный возраст, и сегодня огромен. Особенно они ценны и незаменимы на поминальных мероприятиях Зогаллы. Дочери Аллаверди-бабы – профессиональные плакальщицы, в Зогаллы ни одни похороны не проходят без их активного участия. За мизерную благодарность они одинаково умело рыдают и над состоятельным покойником, и над бедным зогаллинцем. В поминальных причитаниях они находят такие слова, что даже людей с каменными сердцами доводят до слез. А каков их душераздирающий плач, а какие истерики они умеют устраивать при выносе тела покойника со двора! Это только надо видеть и восхищаться их творчеством и талантом. Говорят, в последние годы их на свои похороны за определенную плату стали нанимать даже соседние мугалы. Я, конечно, не верю таким разговорам, но от мугалов чего угодно можно ожидать: они на всё пойдут, лишь бы самим не поплакать на похоронах своих близких.

Между прочим, когда в зогаллинской среде речь заходит о чьих-то предстоящих похоронах, собеседники для полноценности ритуала обязательно завершают ее обсуждением состояния местного кладбища. Ничего странного в этом, конечно же, нет, было бы нелогично, если бы в эти тягостные минуты они вели речь о сельском клубе.

Не к ночи будет сказано, – хотите верьте, хотите нет, – зогаллинцы свое деревенское кладбище не то что любят, они его просто обожают. В разговорном языке зогаллинцы стараются не употреблять слово «кладбище». Учитель биологии зогаллинской школы Тельман-муаллим после очередных веселых похорон очередного зогаллинского старика как-то предложил исключить данное неприятное для слуха слово из и без того скудного лексикона своих земляков. Потому как на языке старшего поколения зогаллинское кладбище именуется «дубовой рощей», а молодые зогаллинцы для краткости называют его дубровником. Название кладбища происходит от его географического положения. Кладбище у зогаллинцев старинное, ему около трехсот лет, и находится оно в дубовом лесу. Выбор предками места для захоронения усопших и сегодня устраивает большинство зогаллинцев. Хотя, конечно, находятся и скептики. По мнению того же Тельман-муаллима, место для захоронения предки сегодняшних зогаллинцев однозначно выбрали неудачно. Потому что дуб, как утверждает он, это дерево, символизирующее не смерть, а жизнь.

– Как можно было выбрать местом для кладбища дубовый лес, когда дуб является символом долголетия, жизненной силы? – по сей день сокрушается Тельман-муаллим. – Даже самый слабый биолог скажет вам, что при контакте с дубом человек



получает максимально возможное количество жизненной энергии. Будь моя воля, я никогда бы не согласился быть похороненным тут, – говорит он.

– Будь твоя воля, ты никогда не согласился бы умереть, жил бы, как вечный жид, – отвечают ему зогаллинцы. – С другой стороны, если ты не хочешь лежать на возвышенности, где солнце пробивается сквозь листья высоких дубовых деревьев и освещает ее, где всегда чистый воздух, где в могилах отсутствуют бактерии, мы пойдем тебе навстречу как уважаемому учителю. И отдельно похороним тебя в низине, там, где начинаются мугальские поля, затопляемые весной талыми водами, и будешь лежать в воде.

Перспектива лежать в воде не нравится Тельман-муаллиму, поэтому он быстро отступает.

– Так что не умничай, если даже ты трижды учитель. Когда придет время, закопаем, где надо, – добавляют зогаллинцы.

Кара-дайы тоже не соглашается с Тельман-муаллимом и приводит в пример русских, у которых не жизнь, по его словам, а смерть человека часто ассоциируется с дубом. По словам Кара-дайы, именно поэтому у русских широко распространено выражение «дать дуба». Каждый русский покойник, утверждает Кара-дайы, считает для себя честью быть похороненным в дубовом гробу. Как покойник об этом может мечтать, он не объясняет.

– Русские никогда на это не пошли бы, – говорит Кара-дайы Тельман-муаллиму, – если бы всё было так, как ты говоришь.

По мнению Кара-дайы, у дуба действительно много достоинств, но самое главное достоинство – это то, что дуб успокаивает душу. И поэтому наши предки определили место для захоронения в дубовой роще.

Дубовая роща, где зогаллинские покойники находят вечное успокоение души, примыкает к деревне с севера. В обычные дни на красивых железных воротах, установленных местным кузнецом Исмаилом за три месяца до собственной смерти, висит массивный замок, ключи от которого бережно хранят мулла Байрам и блюститель порядка Вахид, проживающий рядом с кладбищем. В эти дни зогаллинцы для посещения могил близких пользуются маленькой калиткой, расположенной рядом с воротами. Но в дни похорон ворота кладбища открываются настежь и великодушно пропускают очередного вечного посетителя.

Войдя на территорию дубовой рощи, невозможно не заметить возвышенность, на которой расположено кладбище. Возвышенность очень красиво сочетается с дубовым лесом. Иной раз некоторые зогаллинцы и гости деревни, особенно летом, в зной и жару, даже завидуют тем, кто покоится в тени многолетних деревьев. Возвышенность позволяет кладбищу оставаться непотопляемым в случаях схода с гор весной и осенью селевых потоков. Сели часто и без предупреждения покрывают не только поля. Разбушевавшийся поток приходит и в сады, и во дворы зогаллинцев, оставляя после себя толстые слои ила. Зогаллинцы в таких случаях находят утешение в том, что дубовая роща в очередной раз не покорила село, осталась сухой и недосягаемой. Поэтому как только кто-то начинает жаловаться на последствия селя, зогаллинские острословы берут его за плечи, поворачивают в сторону дубовой рощи и в шутку ему советуют:

– Хочешь оставаться сухим и невредимым, поторопись в дубовую рощу.

Естественно, жалобщик быстро замолкает, незаметно смывается, потому как какими бы комфортными ни были условия в дубовой роще, в Зогаллы я пока не встречал спешащих туда.

Но с возрастом зогаллинские старики свыкаются с мыслью о неизбежности предстоящего переселения в дубовую рощу. Первым делом они начинают почаще наведываться к могилам близких. Более смелые старики определяют подходящее место для собственной будущей могилы. В Зогаллы нередко случаи, когда самые ре-



шительные аксакалы на месте показывают своим родным и близким, где и по соседству с кем они хотят быть захоронены. Молодой зогаллинский специалист по землеустройству, выпускник Гянджинского сельхозуниверситета Самир подобные решения стариков называет последней привязкой к местности. Менее решительных зогаллинцев, которые до последнего дня не допускают мысли о своей смерти и боятся говорить об этом вслух, близкие тоже хоронят в дубовой роще, но по своему усмотрению.

Аллаверди-баба относился ко вторым. Даже в девяностолетнем возрасте он не решался на «привязку к местности», что вызывало определенные подозрения со стороны соседей. Многие зогаллинцы почему-то считали, что в этом возрасте нечего тянуть и пора бы определиться.

Именно в год девяностолетия Аллаверди-бабы Абид-муаллиму вдруг захотелось отметить эту дату в общезогаллинском масштабе. Зогаллинцы никогда не отмечали дни рождения как отдельные праздники. Потому как в быту у зогаллинцев и без дней рождения всегда хватало поводов для всякого застолья. Несмотря на это, они с пониманием отнеслись к предложению Абид-муаллима и стали готовиться.

Обретение независимости нашей республикой положило конец служебным амбициям Абид-муаллима. Он стал неинтересен новым властям. Сколько Абид-муаллим ни пытался выдавать себя за борца с прошлым режимом, чтобы выхлопотать себе какую-нибудь должность, верхи остались при своем мнении.

Не найдя отклика в верхах, он решил задействовать низы. «И почему бы не отметить юбилей самого старого человека в деревне?» – подумал как-то он во время очередной бессонницы, и с утра приступил к задуманному. С присущим ему азартом Абид-муаллим первым делом поставил об этом в известность нового председателя сельсовета. Потом позвонил бывшему фотографу бывшей районной газеты «Шелале». Во дворе юбиляра Аллаверди-бабы Абид-муаллим сам наметил молодого бычка, которому предназначалось стать жертвой его энтузиазма и быть зарезанным в день рождения хозяина.

Уставший от безработицы фотограф приехал на следующий же день после звонка Абид-муаллима. Прибыл он к одиннадцати часам дня, но долго не мог найти, по его словам, «необходимый ракурс» для фотографирования. Ему мешала внешность юбиляра. То он снимал с головы аксакала папаху, то ему не нравились усы Аллаверди-бабы, которые, якобы, выглядели непропорциональными и выходили на стороны неравномерно. Аллаверди-баба удивлялся:

– Девяносто лет они были пропорциональными, сегодня вдруг покосились, – таким образом выражал он свое недовольство, поглаживая свои усы, преувеличивая при этом их возраст, будто они росли у него с рождения.

Остроумный фотограф был на своей волне:

– Аксакал, – смеялся он, – такое тоже скажете...

После нескольких комбинаций с папахой фотограф решил остановиться на усах, как на виновниках, не дающих ему найти «необходимый ракурс» при фотографировании, и вернул папаху на привычное место.

Как ни сопротивлялся Аллаверди-баба, фотограф ножницами немножко укоротил его левый ус и, добившись пропорциональности усов, потом долго закручивал оба уса. Дав им необходимое направление, фотограф взялся за работу. Съемки он благополучно затянул до обеда и только при виде накрытого стола под тутовым деревом удачно завершил их. Плотню поев, последним вечерним автобусом он вернулся в Гах, обещав на днях передать снимки.

Тем временем Абид-муаллим, как организатор и инициатор мероприятия, на торжество решил пригласить гостей в количестве пятидесяти человек из числа близких родственников и уважаемых зогаллинцев. Если не считать нескольких учителей зогаллинской школы и двух молодых соседей, то из молодежи больше никого на торжество он не пригласил. Позже выяснилось, что это было организационным упущением.

нием со стороны Абид-муаллима. Во-первых, участие молодежи в таком важном мероприятии могло бы иметь хорошее воспитательное воздействие на нее, а во-вторых, не возникли бы проблемы с остатками вина из двадцатилитрового кувшина, купленного у грузин Алибейли и открытого в день торжества. Поэтому на следующий день молодежь всё равно пришлось пригласить в дом Аллаверди-бабы, чтобы те допили остатки вина, не дав ему скиснуть.

Между прочим, покупку вина у грузин организовал не кто иной, как Кара-дайы, который изначально собирался под любым предлогом отказаться от этого мероприятия. Аллаверди-баба сам никогда не пил и, в отличие от многих зогаллинцев, не изготавливал дома спиртных напитков. И когда Абид-муаллим поинтересовался у Кара-дайы, не поможет ли он с покупкой вина у грузин Алибейли, Кара-дайы после недолгого раздумья дал согласие помочь. При Абид-муаллиме он позвонил в Алибейли сыну одного «очень в свое время уважаемого, а ныне покойного грузина»:

– Для вас, Кара-дайы, последний кувшин отдам, – на радостях кричал в трубку грузин. – Сыну оставлял, должен был в отпуск из армии приехать домой. Не отпустили. Сто двадцать литров детских слез!

– Ничем не размешано вино? – грозно спросил Кара-дайы.

– Клянусь могилой отца, чистое! – уверяли на том конце.

– Хорошо, приедут люди от меня, при них откроешь кувшин. Подсунешь некачественное вино, утоплю в твоём же кувшине, – пошутил Кара-дайы.

А когда вино привезли в Зогаллы, в планы Кара-дайы опять вмешался шайтан и убедил его, что он обязан участвовать в дне рождения Аллаверди-бабы: во-первых, он как бы являлся ответственным за качество вина, а во-вторых, шайтан подсказал ему:

– Кара, не каждый день кувшин с вином открывают, ты подумал об этом?

Убедил-таки он его: Кара-дайы очень любил свежее вино.

Торжество назначили на середину июня – точной даты дня рождения Аллаверди-бабы никто не знал. С каждого приглашенного гостя Абид-муаллим заранее собрал по пять ширванов, на часть из которых, как мы уже говорили, было куплено вино. Остальные деньги в день торжества Абид-муаллим в конверте вручил имениннику. Расходы на организацию столов взяли на себя дочери и внуки Аллаверди-бабы. Такова была предварительная договоренность.

Пир устроили такой, какого давно Зогаллы не видел. На столах посреди разных яств заманчиво возвышались графины с настоящим грузинским вином, потребителями которого были настоящие знатоки. Единственная бутылка шампанского, купленная Абид-муаллимом в Загатале, хотя и выглядела сиротливо, но стала удачным эстетическим дополнением к сервировке. К слову, шампанское для зогаллинского застолья такой же чуждый напиток, как крепкая тутовка на столах иранских аятолл.

Гостей разместили за двумя столами. За длинным торжественным столом, который был собран путем присоединения нескольких коротких столов, принесенных от соседей и установленных под тутовым деревом, посадили пьющих гостей во главе с Кара-дайы и Абид-муаллимом. Маленький стол был предназначен для непьющих гостей, на нем отсутствовало спиртное. За ним сидели именинник, мулла Байрам и еще несколько непьющих стариков. Тут же, рядом с ними, разместилось несколько женщин пенсионного возраста, дочери Аллаверди-бабы и соседки. Обслуживанием гостей руководила старшая внучка именинника, а еду на столы носили внуки и правнуки Аллаверди-бабы.

Разделение приглашенных гостей на пьющих и непьющих в зогаллинских застольях практикуется давно. По словам стариков, оно, якобы, связано с религиозными убеждениями непьющих, поэтому нахождение на их столах спиртных напитков недопустимо. Правду говоря, в силу определенных причин истинно верующих в Зогаллы во все времена было очень мало. Советская власть за семьдесят лет свела их

количество почти до нуля. Но когда не стало этой власти, люди постепенно вернулись к религии и начали соблюдать религиозные обряды. Однако в начале девяностых годов прошлого века таких людей в Зогаллы были единицы. В те годы в Зогаллы почему-то принято было считать, что если мужчина не пьет, значит, он верующий.

Кара-дайы немного иначе объясняет разделение столов. По его мнению, целью такого разделения является предостережение непьющих от соблазна выпить.

– Большинство непьющих в Зогаллы когда-то были активными пьющими. Если их сегодня посадить за один стол с пьющими, то они могут не удержаться. И могут начать пить заново наравне с остальными, – утверждает он. – А это уже большой грех, поэтому их и рассаживают отдельно.

Что интересно, на зогаллинских свадьбах непьющих стараются рассаживать ближе к выходу из магара, логично рассуждая, что они быстрее покинут свадьбу, чем пьющие.

В Зогаллы редко встретишь мужчин, непьющих по жизни; большинство непьющих зогаллинцев когда-то были пьющими, но по тем или иным причинам позже бросили пить. Бросали пить зогаллинцы или по состоянию здоровья, или по старости. Из тех, кто сидел сегодня за «непьющим» столом, только сам именинник и его сосед, Самед-дайы, были непьющими по жизни, то есть они никогда не пили спиртного. Самед-дайы был тоже почтенным стариком, жил по соседству с Аллаверди-бабой. Был он на шесть лет младше именинника. Между прочим, в дальнейшие планы Абидуаллима входило со временем отметить юбилей еще и Самед-дайы. Остальные трое непьющих за столом были аксакалами, бросившими пить в пенсионном возрасте по состоянию здоровья.

Исключение составлял мулла Байрам. Мулла Байрам, если ему верить, бросил пить «по указанию сверху». Случилось это после бурного отмечания им собственного юбилея – шестидесятилетия, когда его провожали на пенсию. По словам мoulлы Байрама, в тот вечер он пил столько, что потом спал целые сутки, не мог не только встать, но и открыть глаза.

– Лежу и чувствую, что ужасно хочу воды – нашей, зогаллинской, родниковой, – но какая-то сила держит меня и не дает встать. Сколько ни пытаюсь, всё тщетно. А внутри всё горит. И тогда я понял: если не встану, то сгорю к черту. И стал просить Аллаха во сне, что если он мне поможет встать, я больше никогда не притронусь к спиртному. Только я помолился – буквально через минуту меня подняли на ноги, а глаза сами открылись. Кто поднял – не знаю, знаю одно: кто-то мне помог. Я встал, напился воды, пришел в себя.

Случай с мoulлой Байрамом тогда сильно насторожил многих пьющих мужчин Зогаллы. Особенно насторожены были молодые мужчины и мужчины среднего возраста, которые составляли ударную силу зогаллинских застолий. После того случая большинство из них перестали пить «до упора», боясь впоследствии попасть в число «получивших сверху указание» бросить пить. Зогаллинцы пока не были готовы к тому, чтобы полностью завязать со спиртным. В те годы часто можно было наблюдать следующую картину: бывало, что в самый разгар застолья кто-то из числа активно пьющих вдруг резко опрокидывал свой стакан. Тем самым он давал понять сотоварищам, что на сегодня ему хватит. А на их уговоры отвечал следующим образом:

– Даже не просите, да ну его! Хватит! Напешься, как свинья, а к утру получишь «указание сверху» завязать! И что тогда? Как мулла Байрам буду сидеть за коротким столом и смотреть на чай и компот! Нет уж, лучше не нарываться! Видно, наверху сейчас серьезно взялись за нас, за зогаллинцев, – говорил он, указывая пальцем в небеса, в канцелярии которых наконец-то решили урегулировать поведение зогаллинцев. – По чуть-чуть, я думаю, если будем пить, нам, зогаллинцам, разрешат, – говорил он, зазывал к себе «обслуживающего на ногах» и громко заказывал стакан чаю, как бы демонстрируя верхам свою независимость от спиртного.

После двадцати лет независимости республики число боявшихся получить «указание сверху» настолько увеличилось, что сегодня длина «пьющих» и «непьющих» столов в Зогаллы почти одинаковая. Иногда «непьющий» стол по длине даже превосходит «пьющий». Хотя зогаллинцы упорно продолжают называть его «коротким» столом, уважая память недавнего прошлого.

Но мы немного отвлеклись. Одним словом, мулла Байрам, тогда еще просто Байрам, первым из зогаллинцев получивший «указание сверху» завязать со спиртным, с того дня бросил пить. Вначале никто не хотел ему верить. Но когда через месяц после того случая, будучи на чьей-то свадьбе он официально отказался пить и демонстративно сел ближе к выходу, многие пьющие зогаллинцы сильно удивились. Но подумали, что это ненадолго, что Байрам вот-вот вернется обратно к ним. Байрам думал иначе – еще через месяц он стал ездить в Загатальскую мечеть на пятничное служение. Через полгода он купил написанную кириллицей маленькую книжку с сурами из Корана. Со временем его стали приглашать на все деревенские религиозные мероприятия, а через год он уже считался муллой всей деревни.

В первое время многие наивные и недоверчивые зогаллинцы часто спрашивали у муллы Байрама:

– Байрам, а вдруг сверху поступит указание снова начать пить, что тогда ты сделаешь?

Мулла Байрам не терялся и отвечал, что сверху такое указание никогда не поступит, потому что сверху, как правило, поступают запретительные указания.

– А разрешительные? – недоумевали зогаллинцы.

– А всё, что они не запрещают, считается разрешенным, – отвечал им мулла Байрам.

– А если все-таки поступит такое указание? – не отставали зогаллинцы. – Мало ли что, может, по ошибке.

– Тогда, конечно, можно будет и пить, – отвечал мулла Байрам, оставляя место для отступления в случае непредвиденных обстоятельств. – Хотя так, как пил раньше, сейчас навряд ли выпью, – тут же поправлял он себя.

Забегая вперед, надо бы отметить, что на дне рождения Аллаверди-бабы весь вечер мулла Байрам с ревнивой завистью косился в сторону «пьющего» стола, что отчасти являлось подтверждением истинности суждения Кара-дайы о причинах разделения столов.

Давать подробную характеристику сидящим за длинным «пьющим» столом нет надобности. В самом начале стола расположились лицом друг к другу Кара-дайы и Абид-муаллим. А во главе стола посадили дальнего родственника Аллаверди-бабы, учителя русского языка и литературы зогаллинской школы. Учитель считался вторым тамадой в деревне после Кара-дайы. Он был довольно упитанным мужчиной среднего роста и единственным, кто на мероприятие пришел в галстук. Даже Абид-муаллим был без своего знаменитого короткого и широкого галстука.

Галстук учителя, между прочим, был завязан неудачно, даже издали заметна была его чрезмерная длина. По этой причине в течение всего застолья кончик галстука успел побывать во всех глубоких и мелких тарелках, находящихся перед учителем.

Учитель был красноречив. Первым делом он попросил обслуживающих держать наготове керосиновые лампы на случай отключения электричества. Времена были переходные и тяжелые, перебои со светом случались каждый день. Потом он поздравил именинника стихами, пожелал ему, как минимум, еще десять лет жизни и сказал:

– Ближе всех к столетнему рубежу в Зогаллы стоите вы! Так что, Аллаверди-баба, не подведите!

Чтобы старик не расслабился, учитель тут же привел в пример мугалов:

– Абид-муаллим не даст соврать: у мугалов несколько человек, перешедших столетний рубеж. А у нас ни одного. А чем мы хуже них?

– Трое у них, – подсказал Абид-муаллим, не отрываясь от еды.

– У них все долгожители – женщины, – скептически высказался кто-то из сиящих в дальнем углу. – Что вы сравниваете мужчин с женщинами? С женщинами нельзя сравнивать, если даже они мугалки, женщины более живучие, – твердил он, тем самым ставя под сомнение логичность данного сравнения и вычеркивая мугальских женщин из числа долгожителей, которые могли составить конкуренцию Аллаверди-бабе.

– Женщины тоже люди, между прочим, – старшая дочь юбиляра встала на защиту мугальских женщин-долгожителей.

– А мугальские мужчины живут меньше наших! После шестидесяти мрут, как китайцы от свиного гриппа, многие даже до пенсии не дотягивают, – продолжал гость с упорством.

– Пожил бы ты десяток лет с мугалкой, и до сорока не дотянул бы, – вдруг высказался Кара-дайы, повернувшись в сторону того угла, откуда выступал скептик. – Год жизни с мугалкой надо за два считать, как работу на вредном производстве. Поверьте мне, я-то уж точно знаю, что говорю, – разъяснил он причину ранних смертей среди мугальских мужчин.

Разгорелся небольшой спор о том, можно ли считать женщин-долгожителей конкурентами мужчинам или их следует отнести к другой категории долгожителей.

– Тем более мугальских женщин, – не отступал скептик.

Пришлось опять вмешиваться в разговор Кара-дайы:

– Если быть справедливым до конца, женщин тоже надо считать, – сказал он как специалист по мугальским женщинам. – Им тоже живется нелегко.

Многие сочли ответ Кара-дайы завуалированной защитой позиций собственной жены, которая тоже была в преклонном возрасте.

Под воздействием выпитого скептик стал еще агрессивнее:

– А мужчины есть среди мугалов в возрасте Аллаверди-бабы? – посмотрел по сторонам, не найдя ответа, сам же и ответил. – Нет. А я о чем? Нашли с кем сравнивать! – и хотел что-то еще добавить, но учитель перебил его:

– Прав Кара-дайы, дело не в женщинах. Самый возрастной зогаллинец на сегодня – это Аллаверди-баба. Давайте будем его тянуть к столетию!

– Дешевле обойдется, если затынем его в дубовую рошу! – опять из дальнего угла кто-то неудачно пошутил, остальные сделали вид, что не услышали его реплики.

– Человек не провод электрический, чтобы его тянули, – недовольно пробурчал сидевший в углу электрик Ибрагим, будто кто-то вторгся в область его профессиональной деятельности и покусился на незыблемое.

Под смех присутствующих все выпили. Аллаверди-баба за «коротким» столом в знак благодарности хотел даже встать, хотя он не слышал, о чем говорил его родственник-учитель. А когда ему передали пожелание учителя, он принял обиженный вид:

– Еще десять лет? – сказал он. – За что мне такое наказание?

Слова Аллаверди-бабы некоторые присутствующие сочли капризом старого человека, ведь старики в этом, как известно, не уступают детям. А другим показалось, что Аллаверди-баба таким образом пошутил, на самом же деле он не против пожить до ста лет.

Встала старшая дочь Аллаверди-бабы и от имени родни ответила на пожелание. И заверила гостей, что они (то есть ближняя родня Аллаверди-бабы) всё сделают для того, чтобы их отец прожил до ста лет, а то и больше.

– Он у нас молодец, – похвалила она отца, – никогда не пил, не курил, не ругался. Никого в жизни не обидел, никому плохого слова не сказал. За это и Аллах



любит его. Так что наш отец еще будет жить! Сколько наверху сочтут нужным, столько и будет жить. А мы тоже со своей стороны будем следить, чтобы ему не было плохо, и еще лучше будем ухаживать за ним.

Когда она произнесла слова «никого не обидел», присутствующие как по команде повернулись в сторону Кара-дайы, давая ему понять, они всё помнят, а заодно напоминая старшей дочери, что кое-кого всё-таки сегодняшней именинник когда-то обидел, тем более, что этот человек сегодня среди них. Поэтому надо бы поосторожнее выбирать выражения – как говорится, ври, да знай меру. Позже некоторые высказывания старшей дочери Аллаверди-бабы сочли за профессиональную привычку плакальщицы на траурных мероприятиях, где, как известно, в адрес покойника разрешается произносить любые комплименты, точнее, положено говорить о нем только хорошее. Кара-дайы кивком головы поблагодарил всех.

Первый раз свет отключили через час после начала застолья. Что интересно, в Зогаллы всё, что связано с электричеством и светом, вот уже много лет ассоциируется с именем местного электрика Ибрагима. Прозвище ему дали тоже электрическое: в деревне все называют его Фазой Ибрагимом. Прозвище Ибрагим получил благодаря своей работе: он, по утверждению одних зогаллинцев, часто путает фазу с нулем, и за подобную халатность электричество часто наказывает его сильными и не очень сильными ударами тока. Что подтверждается многочисленными следами ожогов на руках Ибрагима.

Иные зогаллинцы в разговорах утверждают обратное: будто Ибрагим на работе путает не фазу с нулем, а нуль с фазой. А по мнению третьих, Ибрагим путает вовсе не фазу с нулем и не нуль с фазой, а фазу и нуль вместе взятые – с землей. Хотя в чем состоит разница, никто из зогаллинцев и сегодня не знает. Сам Ибрагим при подобных утверждениях земляков обычно смеется зычным голосом, как бы давая им понять, что и первые, и вторые, и третьи неправильно трактуют его ошибки.

По мнению Кара-дайы, за легкомысленное отношение к работе и поверхностное знание электрического дела логичнее было дать Ибрагиму прозвище «Нуль» и называть его Нулем Ибрагимом. Но, видимо, зогаллинцы его пожалели, дали более звучное прозвище. Ибрагим не возражал, когда его называли «Фазой», отмахивался азербайджанской народной пословицей: «Посуда, предназначенная для воды, бьется в воде».

Так вот, как только отключили свет, все дружно повернулись в сторону Ибрагима, чтобы узнать причину отключения.

– Я не знаю, даже не спрашивайте! – моментально ответил Ибрагим, – все вопросы туда, наверх, – сказал он, головой указал в сторону Гаха и продолжал есть, как ни в чем не бывало.

– Чтоб тебя нулем шаррахнуло! – в сердцах воскликнул кто-то из гостей, но в темноте хозяина этого проклятия определить было сложно. – Ты хоть что-нибудь на этом свете знаешь, кроме фазы?

– Что мне надо, я всё знаю, так что ешь и за меня не беспокойся! – спокойно ответил Ибрагим, не отрываясь от тарелки.

Шустрые внуки и правнуки Аллаверди-бабы принесли керосиновые лампы, и вечер продолжался при их тусклом свете.

После того, как все пьющие гости по первому кругу поздравили именинника и единогласно обозначили главную задачу, стоящую перед ним – дожить до ста и не меньше – довольная младшая дочь Аллаверди-бабы повела недовольного подобным условием именинника спать. Так долго за столом старик давно не сидел. Дальше праздновали без него.

Тем временем застолье было в самом разгаре, пьющие присутствующие, говоря научным языком, вели жаркие дебаты в секциях, сформировавшихся из сидевших близко друг к другу гостей.



Кара-дайы объяснял своим соседям, почему нельзя сравнивать Аллаверди-бабу с Кёроглу:

– Если каждого усатого мужика будем сравнивать с национальным героем, нас неправильно поймут, – говорил он, не объясняя при этом, кто именно нас неправильно поймет. Но всем и так ясно было, что нас неправильно поймут мугалы, хотя, с другой стороны, когда они нас правильно понимали-то?

– А с кем можно сравнивать простого человека, Кара-дайы?

– Простого человека надо сравнивать с простым человеком! При сравнении надо соблюдать величины сравниваемых, их уровни. Скажем, как можно сравнивать профессора университета, который разбирается в физике, с нашим электриком Ибрагимом? Ну никак! Нашего электрика можно сравнивать с каким-нибудь другим электриком, например, с тем же мугальским электриком. Берем мугальского электрика и сравниваем с Ибрагимом. Что мы видим в сравнении? В сравнении мы видим, что мугальский электрик такой же раздолбай, и он никак не умнее нашего Ибрагима. Почему мы в этом уверены? Да потому что я знаю электрика из мугальской деревни! Руки такие же, как у нашего Ибрагима, в ожогах от ударов тока. Вот кого и с кем можно сравнивать. А то что получается? Человека, который даже в армии не служил, войну не прошел, сравнивают с Кёроглу. Я всегда был против такого сравнения!

– Кара-дайы, так его еще и с Будённым сравнивают, – не отставал учитель. Видно было, что он хорошо знаком с Кара-дайы, и знает, как заставить его открывничать.

– С Будённым? С ним – пожалуйста! Будённый не наш герой! Я за своих отвечаю. За Будённого я не отвечаю! С ненашими героями – с кем хотите, пожалуйста, можно сравнивать, хоть с Чан Кай Ши. Тот тоже был усатым.

...В самом конце «пьющего» стола приехавший на торжество из Баку старший внук Аллаверди-бабы рассказывал землякам о новом японском аппарате, который назывался ксероксом. Оказывается, учреждение, где он работает завхозом, недавно приобрело такой аппарат.

Сидящие рядом с ним земляки, хотя и махали головами в знак согласия с ним, но видно было, что особо не удивлялись рассказанному.

– Сейчас техникой никого не удивишь, – говорил один зогаллинец, – сейчас полно техники всякой.

– Интересно, и деньги можно печатать на этом аппарате? – спрашивал другой.

– Всё можно, – отвечал завхоз, – только вот где возьмешь бумагу для денег. На деньги специальная бумага нужна, – объяснял он.

– Это уж точно, – соглашался задававший вопрос зогаллинец, – будь такая бумага, люди только тем и занимались, что печатали деньги с утра до вечера на твоём аппарате, – наивно рассуждал он.

– Наши вряд ли, но мугалы точно раздобудут бумагу, – говорил третий, – И как начнут печатать, тогда нам будет конец! Скупят нас с корнями! Запомните мои слова!

Тем временем Абид-муаллим стал стучать ложкой по стакану и призывать присутствующих к спокойствию. Когда все успокоились и направили свои взоры в его сторону, он произнес тост, который потом ровно девять лет держал всех зогаллинцев в напряжении.

Скорее, это было даже не тостом, а неким пожеланием и просьбой перед Всевышним. И прозвучало оно так убедительно, будто Абид-муаллим предварительно согласовал его с высшими силами.

Выступление Абид-муаллима получилось глубоко аргументированным. Присутствующим стало ясно, что это не спонтанное решение, а результат долгих раздумий. Абид-муаллим в своем выступлении вышел далеко за рамки своих гражданских полномочий. Мало того, он вторгся в область, которая, как уже отметили, регулируется сверху:

– Наша республика давно славится своими долгожителями. – Абид-муаллим начал издали. – В нашем Гахском районе их тоже немало. Я специально изучал статистику по всем деревням. Кроме Зогаллы, везде есть долгожители, которые перешагнули столетний рубеж. О мугалах я молчу – у них таковых аж трое. Поэтому и мы должны стараться, чтобы сегодняшней наш именинник тоже прожил, как минимум, сто лет.

– Кто ему мешает, пусть живет, – крикнули из дальнего угла.

Присутствующие засмеялись. Но Абид-муаллиму было не до смеха:

– Но я не об этом. В том, что Аллаверди-баба проживет сто лет, у меня нет сомнений. Не один еще год он будет угощать нас ранними огурцами.

– При чем тут огурцы? – сидящий в дальнем углу не успокаивался.

– Вот именно, огурцы тут ни при чем, – продолжил Абид-муаллим, – я о другом.

– Давайте уж, не тяните, – тот же голос поторопил Абид-муаллима.

– Благороднее и добрее Аллаверди-бабы я в своей жизни не встречал никого, – перешел наконец-то Абид-муаллим к сути своего выступления. – Вот сижу я сегодня и думаю: если на том свете действительно есть рай, то Аллаверди-баба, когда завершит свою земную жизнь, обязательно попадет туда! Не сейчас, нет, после ста лет. О себе я не могу такого утверждать, а насчет него почему-то уверен: он будет в раю! Или я не прав, мулла Байрам? – повернулся Абид-муаллим в сторону муллы Байрама.

– Больше Абид-муаллиму не наливайте, – не успокаивался тот же голос, но его шутку никто не оценил, все гости замолкли в ожидании ответа муллы Байрама. Мулла Байрам, хотя и читал отдельные суры из Корана, все еще не считался его знатоком, поэтому для многих вопрос Абид-муаллима показался несвоевременным. Тем не менее, ответ муллы Байрама развеселил многих:

– В чем состоит наша задача, задача мулл? Она состоит в том, чтобы просвещать людей, объяснять им все глубинные тонкости ислама. Это раз. А во-вторых, когда человек покидает наш мир, мы помогаем хоронить покойного достойно, по правилам шариата: помыть его, завернуть в кафан, зачитать молитву, положить на кладбище в могилу, закопать его и вернуться. На этом наша работа, работа мулл, заканчивается. Что с покойником делается после захоронения – это не наша задача. Дальше другие рассматривают, куда покойного направить – в рай или в ад! Мы, естественно, в своих молитвах просим простить покойнику все совершенные им при жизни грехи и по возможности определить его в рай! А там, кто его знает, как распределяют, – сказал мулла Байрам, и сидящим стало ясно, что он тоже не знает, каким образом на том свете распределяют покойников в рай и в ад.

– А вот, мулла Байрам, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то список требований к простому человеку, который рождается и живет в этом мире, при беспрекословном выполнении которых в том мире он обязательно попадает в рай?

Наступила тишина. Мулла Байрам полистал свою небольшую книгу:

– Да какие могут быть требования? – не найдя ответа, удивился он. – В первую очередь надо быть человеком. Не воровать, не убивать, делиться с бедными.

– Кто бы с нами поделился, – недовольно пробурчал тот же голос из дальнего угла.

– Это мы знаем, мулла Байрам. Никто из нас не ворует и не убивает. Но может, все-таки имеется полный список требований?

Тот пожал плечами:

– В этой книге, которая всегда при мне, которую я уже выучил, я не встретил таких требований. Может, и есть, я не знаю. В пятницу в Загатале могу у главного муллы спросить, узнать.

– Узнайте, мулла Байрам, если есть, напишите на бумаге, мы перепишем и раздадим людям. Пусть придерживаются, если хотят в рай.

– Зачем переписывать, – прокричал подвыпивший старший внук Аллаверди-бабы. – Заберу список, отксерю на аппарате, сколько вам надо, и передам. Один экземпляр себе оставлю.

– И так можно, – согласились зогаллинцы. – С другой стороны, когда от руки переписываешь, хорошо запоминается. Дело-то ответственное.

Абид-муаллим, подняв левую руку вверх, ждал, пока все успокоится. Когда сидящие определились с задачей, поставленной перед муллой Байрамом, они наконец-то угомонились, и он спокойно продолжил:

– Я тоже думаю, что должен быть такой список. Коммунисты в свое время всё прятали от народа! Этот список тоже, наверное, они спрятали! Сегодня, я думаю, можно всё обнародовать. Так что, мулла Байрам, если есть такое, вы уж привезите. Люди должны знать, как надо жить по шариату.

– Если на самом деле имеется подобное, в пятницу обязательно захвачу, – сказал мулла Байрам.

– Но я хочу вернуться к Аллаверди-бабе, – продолжил Абид-муаллим. – Каким бы длинным ни был список требований, а я уверен, что этот список – длинный, наш сегодняшний именинник соблюдал все пункты и обязательно будет в раю!

Опять по рядам пошли недовольные возгласы, мол, нехорошо как-то получается рассуждать о посмертной жизни человека, когда он жив и здоров, тем более, что сегодня отмечают его юбилей и пьют за его здоровье. При этом все согласились с мнением Абид-муаллима о том, что на сегодняшний день Аллаверди-баба – единственный кандидат среди зогаллинцев на попадание в рай:

– Если не он, то кто тогда? – риторически спросил Абид-муаллим.

Тут сидящие подозрительно осмотрели друг друга, каждый в своем соседе ментально увидел столько грехов, что того не то что в рай, в ад и то приняли бы лишь при наличии положительной характеристики. Поэтому, не найдя других кандидатов в рай, опять повернулись в сторону Абид-муаллима. Тот был уверен в своем предположении:

– Прямым в рай пойдет, – рукой показал он в сторону дубовой рощи, где под многолетними могучими деревьями покоилось не одно поколение зогаллинцев.

– А если по дороге свернет? – попытался кто-то пошутить.

– Не дадут, – ответили ему, – там за этим делом следят, будь здоров!

– Действительно, если не он, то кто тогда? – далеко за полночь согласились все приглашенные и стали расходиться. На выходе со двора, напоследок развеселив всех, споткнувшись, упал Фаза Ибрагим. Тем самым, как профессионал, он взял на себя все возможные последствия ходьбы ночью в неосвещенных местах.

– Меньше надо было пить, – посмеялись от души остальные. – Ходить по земле – это тебе не по столбам лазить.

\*\*\*

Через неделю мулла Байрам вернулся из Загатылы без списка требований к жизни правоверного мусульманина, при соблюдении которых тот, возможно, попадет в рай. Но он вернулся не с пустыми руками. Мулла Байрам привез много информации о последующей вечной жизни после смерти – в раю и в аду. Ад зогаллинцы отвергли сразу: никто из них не был готов после смерти пройти его семь кругов, снабженных орудиями пыток и другими средствами для истязания грешников.

– Да ну его! – сказали они мулле Байраму, чуть было не обидевшись от него.

– Так это еще не всё, – сказал мулла Байрам и продолжил пугать земляков. – А огонь, а котлы с кипящей смолой? Щипцы для вырывания мяса из тела? Кроме этого, там всех грешников на растерзание бросают ядовитым скорпионам, змеям и всевозможным чудовищам.

– Нет, нет! Это не для нас! Какие мы грешники? Мугалов надо туда, и всё, – заявили зогаллинцы.

А вот условия в раю во всём устраивали зогаллинцев. По рассказам муллы Байрама получалось, что рай – это чудесный оазис, с его прохладой, с чистой и холодной водой. Примерно как у нас в Зогаллы, говорил он, но еще лучше. Зелени и фруктов в раю, оказывается, тоже не меньше, чем в Зогаллы. Но больше всего зогаллинцам в раю понравилось, что там в изобилии не только вкусная еда. Там реки, текущие молоком, медом. И там реки, текущие вином!

– Вот это уже по-нашему, – радостно потирали руки зогаллинцы. – Нам как раз туда и надо. Без вина нам тяжело. А мугалов – в ад! Они и в этой жизни не любят пить вино, а в той жизни тем паче им не надо!

Наличию вина в раю мулла Байрам радовался не меньше простых зогаллинцев – видно, в душе тоже рассчитывал попасть туда.

Одним словом, критически оценив свою земную жизнь, зогаллинцы решили, что первым из ныне живущих должен отправиться в рай Аллаверди-баба. А перед ним, как известно, стояла задача прожить, как минимум, сто лет. Только после этого его ждал рай!

\*\*\*

Первые пять лет пролетели настолько быстро, что по предложению Абид-муаллима решили не отмечать девяностопятилетие старика.

– От дурного глаза подальше, – объяснял он свое решение дочерям и внукам Аллаверди-бабы. – А то еще сглазят. Нам бы еще пять лет продержаться, а там – сколько Аллах даст. Столетие отметим, как положено!

Родня согласилась с Абид-муаллимом, хотя изначально была настроена на юбилей.

Еще три года прошли незаметно. На девяносто девятом году жизни Аллаверди-баба резко сдал. Ему вдруг надоело жить. Он не хотел жить, и всё! И ближе к весне он окончательно слег. Дочери, внуки и правнуки старались, как могли. Аллаверди-баба капризничал, как ребенок, в иные дни вовсе отказывался есть – бывало, днями ничего не ел. Несмотря на это, гахские врачи порекомендовали посадить старика на строгую диету.

– Какая еще диета? – возмущался Абид-муаллим. – Он и так ничего не ест!

Дочери и внуки доставали всевозможные лекарства. Абид-муаллим проводывал старика почти каждый день.

Но беда пришла совсем не с той стороны, с которой все её ждали. В апреле неожиданно скончался сам Абид-муаллим, который больше всех настаивал на том, чтобы старик прожил, как минимум, сто лет. Смерть Абид-муаллима, как и вся его жизнь, получилась очень благородной: он вечером лег спать, а утром не проснулся.

Дочери не хотели говорить Аллаверди-бабе о смерти Абид-муаллима. Через неделю, обеспокоенный долгим отсутствием Абид-муаллима, старик заговорил:

– Абид мне снился. Я, говорил он мне во сне, уезжаю, а вы, Аллаверди-баба, не спешите. Вам надо до ста прожить. Куда он уезжал, не говорил, – произнес старик и замолк.

Затаив дыхание, замолкли и дочери, сидящие у изголовья отца.

– Абида видеть хочу! – резко приказал старик. – Почему он не проводывает меня?

Старшая дочь решила обмануть отца:

– В Баку он уехал, по делам. Как вернется, скажем, зайдет.

Старик тихо сказал:

– Как приедет, пусть заглянет. У меня к нему вопрос имеется.

– Хорошо, деде (*азерб. батюшка – Ред.*), обязательно скажем.

Таким образом, в доме было решено пока не говорить старику о смерти Абидмуаллима.

Но всё испортил Кара-дайы...

\*\*\*

Как мы уже говорили, в последние годы жена и дочери Кара-дайы категорически запрещали ему пить и отказывались обслуживать его и гостей, если он собирался принести на стол спиртное из подвала. Несмотря на запрет, Кара-дайы исправно продолжал изготавливать в течение года всевозможные домашние напитки. Плодами его труда сполна пользовались зятья, друзья зятьев, внуки со своими друзьями. Только когда я бывал у него в гостях, близкие Кара-дайы спокойно переносили наличие спиртного на столе. Как-то он даже жаловался, что редко стал я приезжать, весь подвал забит спиртным.

– Не с кем пить, – жаловался Кара-дайы, – одни померли, другие записались в муллы. Сейчас в Зогаллы одни муллы. Камень, брошенный в собаку, находит муллу, – образно выражался он, намекая на непомерно возросшее количество правоверных. – Всем хочется в рай! – смеялся он.

– А вам, Кара-дайы, в рай не хочется? – нерешительно спросил я.

– Так как они утверждают, по их условиям мне рай не светит.

– Кто «они», Кара-дайы?

– Муллы наши, кто еще. По словам муллы Байрама, пьющим в земной жизни до рога в рай запрещена. Если на самом деле так, значит, мне рай не положен. По другим показателям у меня неплохой послужной список. Вырос сиротой, десять лет воевал, освобождал Европу от фашистов. Никому плохого не делал. Везде, во всех зогаллинских мероприятиях участвовал. Неужели не зачтется? – с надеждой на положительный ответ смотрел он на меня.

– Наверное, зачтется, – подбадривал я его. – Десять лет войны перекроют любые ваши грехи, – смеялся при этом я.

– А грехов-то у меня и нет! – обиделся Кара-дайы. – Если не считать вот это, – указал он на содержимое бутылки, стоявшей на столе. – Какой это грех, если после него я не ругаюсь ни с кем, никого не оскорбляю. Да ну их! Наливай, что будет, то будет! – махнул тогда он рукой, посчитав свою ситуацию, видимо, безнадежной.

\*\*\*

Как в тот день жене Кара-дайы удалось уговорить мужа, никто не знает. Еще с утра она сказала, что сегодня ему надо непременно проведать Аллаверди-бабу. Потому что состояние того, якобы, не внушает доверия. Еще с зимы, оказывается, родня определила теленка на непредвиденные обстоятельства и привязала его к стойке.

Кара-дайы не хотел идти к нему. Тем более, в тот день. Настроение у него с утра было скверное. И он, чтобы поднять его, прошелся и «проверил» тайники, которые находились в скотном сарае. Ему хотелось лечь перед обедом и отдохнуть часочек, – таков был его распорядок дня в последние годы. Когда он закончил их обход, его нос ярким пятачком светился в темноте. И поднял себе настроение Кара-дайы. Но когда Кара-дайы в искусственно поднятом настроении, он может наговорить такое...

Почувствовавшая к старости лет сладость управления жена Кара-дайы продолжала приставать:

– Что ты с утра ходишь по углам? Человек умирает, а ты ни разу не проведал его. У тебя совесть есть? Что люди подумают, что народ скажет? Ты о себе подумал? Будешь умирать, никто не откроет твою дверь!

Кара-дайы всё равно не хотел идти. А жена даже не думала останавливаться и перешла на проклятия, чем часто пользуются женщины в Зогаллы в таких случаях:

– Чтобы тебя в один день с Аллаверди-бабой положили в могилу, раз ты такой упертый и не хочешь идти проведать его!

Кара-дайы надеялся, что жена, как всегда, побурчит и успокоится, поэтому не отвечал ей. Минут через пять Кара-дайы показалась, что она на самом деле успокоилась:

– Говорят, до ста не дотянет, – сказала жена Кара-дайы, будто не она прокляла мужа пять минут назад

– Кёроглу дотянет, посмотришь, – пошутил Кара-дайы, поддержав разговор, – а вот мы с тобой – навряд ли.

К сожалению, шутка не удалась, жена Кара-дайы тут же выдала:

– С такой жизнью с тобой я хоть сегодня готова уйти, – ни с того, ни с сего разразилась она. – Семьдесят лет посвятила тебе, кроме насмешек и оскорблений ничего не видела.

Какой нормальный мужчина перенесет такие упреки, скажите, пожалуйста, люди добрые? Тем более, если это Кара-дайы, который в то время находился под усиленной обработкой шайтана:

– Это ты посвятила мне семьдесят лет жизни? Бессовестная твоя душа. Да ты радуйся, что в молодости по дурости я женился на тебе! А то сидеть бы тебе вечно в девках в своей мугальской дыре! На всё готовое пришла и еще недовольна жизнью! Всю вашу неблагодарную мугальскую фамилию чтоб я! Анас-сыны! – выругался Кара-дайы.

Только после последних слов Кара-дайы (подобные высказывания всегда отрезвляюще действуют на мугалов) его жена почувствовала, что зря затеяла ссору в очередной раз и молча уползла в кухню, пристроенную к боковой стороне дома. Кара-дайы еще долго не мог успокоиться, к тому же и спиртное давало о себе знать.

– Посвятила! Нет еще, жизнь за меня отдала. Это только я мог семьдесят лет смотреть на твое мурдаширское лицо и терпеть. Другой бы на второй день сбежал!

Справедливости ради, отчасти Кара-дайы где-то был прав. С годами обожженное в детстве в горячем тандире лицо жены Кара-дайы все больше становилось похожим на лица героев фильмов ужаса. Но с другой стороны, и его жене в течение тоже семидесяти лет (в разговорах на любую тему, касающихся их совместной жизни, Кара-дайы и его жена никогда не высчитывали те десять лет раздельной жизни, когда Кара-дайы воевал на фронте) приходилось смотреть на не менее черное мурдаширское лицо своего мужа.

В итоге получилось, что жена Кара-дайы все-таки уговорила его – он неохотно направился на улицу. На выходе, в скотном дворе Кара-дайы грязно выругал телят, опрокинувших ведро с водой, предназначенное для них же:

– Сосите сейчас друг у друга, когда захотите пить, не буду я вам больше набирать воду, – крикнул он в их сторону, будто таким шайтанским способом можно утолить жажду. И только после этого Кара-дайы медленно вышел со двора и направился в сторону дома Аллаверди-бабы проведать его. Он чувствовал, что шайтан его, как ребенка, ведет за руку, но противиться не мог

Лучше бы не слушал Кара-дайы тогда свою жену. Умер бы себе старик Аллаверди-баба в девяностодевятилетнем возрасте, не дожив ровно один год до ста. И похоронили бы его, как хоронят всех почтенных стариков в Зогаллы, и всё. А так остался какой-то не очень хороший и даже мутный осадок в душе Кара-дайы от последней встречи с Аллаверди-бабой. День последней встречи Кара-дайы с Аллаверди-бабой можно считать днем самого массированного влияния на него шайтана, после которого он частично потерял контроль над собой и наговорил много неприятного умирающему Аллаверди-бабе.



Возле магазина Кара-дайы поздоровался с зогаллинскими бездельниками, которые каждый день с утра и до глубокой ночи играли в нарды.

– Ассаламалейкум, – произнес Кара-дайы и остановился.

– Ассаламалейкум, Кара-дайы, – хором ответили игроки и болельщики.

– Нос по ветру держите, Кара-дайы! Пусть проветрится, а то сгорит совсем! – пошутил кто-то. Возраст делал свое дело, в последние годы нос Кара-дайы краснел после первой же стопки.

– Вы о моем носе не беспокойтесь, я его всегда держу по ветру! – ответил Кара-дайы. – Вы лучше свои задницы берегите, а то, увлекшись нардами, не заметите, как заработаете геморрой, – пошутил и Кара-дайы.

Один из нардистов предложил Кара-дайы сыграть с ним на спор:

– Кара-дайы, может, сыграем в нарды на два литра вина?

– С тобой сыграешь, весь подвал проиграешь, – отшутился Кара-дайы, не стал больше задерживаться и пошел дальше.

На остановке автобуса он свернул налево, стал спускаться вниз.

В каких раздумьях Кара-дайы зашел во двор Аллаверди-бабы, сегодня он не помнит. Помнит одно: когда открыл калитку двора, залаяла посаженная на цепь собака, и стоявшая на веранде старшая дочь Аллаверди-бабы узнала его:

– Проходите, Кара-дайы, проходите. Собака привязана, не бойтесь, – крикнула она.

Возле ступенек они поздоровались, и повела она Кара-дайы к кровати отца, которая стояла в дальнем углу большой веранды.

– С утра жалуется, что в глазах ему темнится, – по дороге в двух словах рассказала она о состоянии отца. – Ничего не хочет есть.

Аллаверди-баба лежал с закрытыми глазами. Его большие усы, которыми он так гордился, потеряв прежний блеск, безжизненно лежали на исхудавшем лице.

– Деде, деде, как себя чувствуешь? – дочка стала будить отца,

– Темно в глазах, – тихо ответил старик.

– Деде, открой глаза, посмотри, кто пришел проведать тебя! Кара-дайы пришел.

Старик не ответил, только движением маленькой головы дал понять, что узнал пришедшего.

– Вы посидите, я сейчас, – сказала дочь Аллаверди-бабы и, топя толстыми ногами, пошла в сторону кухни.

В Зогаллы обязательно постоянное присутствие у постели тяжелобольного и умирающего человека: по мнению зогаллинцев, оно имеет успокаивающее действие. Считается, что если оставить больного одного, он будет чувствовать себя в изоляции. Умиравший больной должен чувствовать себя защищенным, поэтому присутствующий у постели старается спрашивать и слушать больного, и понять, что чувствует он. Близкие больного обязательно должны быть готовы помочь ему доделать земные дела, а также обещать исполнить его последнюю волю, если тот сам не успел что-то сделать.

Таковы законы Зогаллы. Кара-дайы сел на стульчик возле головы Аллаверди-бабы. Он отчетливо видел по его лицу, что Аллаверди-баба доживает свою земную жизнь. Хотя они никогда не были даже близкими товарищами, проживая столько лет в одной деревне, Кара-дайы почему-то стало жалко старика, понимая, что тот покидает этот свет. И вдруг перед глазами Кара-дайы потемнело – то ли от выпитого, то ли от дневной жары – и он закрыл глаза. Тут же перед ним, как на карте, нарисовалась дорога, по которой Аллаверди-бабу будут нести хоронить из дома в дубовую рощу. Моментально рядом с ним появился шайтан и, смеясь, подсказал Кара-дайы, что дорога к вечности, ведущая из деревни в дубовую рощу, у него самого с Аллаверди-бабой будет одинаковой.

«Тебя так же понесут, Кара, – сказал ему шайтан. – Но там, в дубовой роще, обязательно разойдетесь. Там вас разведут», – твердил он.

«Как разведут?» – не понял Кара-дайы.

«Аллаверди-бабу в рай, а тебя, Кара, в другую сторону».

«Куда в другую сторону? Назад, что ли? – недоумевал Кара-дайы.

«Назад, назад», – смеялся шайтан.

Шайтан так отвратительно смеялся, что, будь у Кара-дайы под рукой ведро воды с кипятком, вылил бы ему на голову, чтобы он ошпарился и заглох.

«Никто оттуда назад еще не вернулся, тоже мне, сгинь!» – выгнал Кара-дайы шайтана, но еще минуты две-три был слышен его смех.

Изгнав шайтана, он открыл глаза. Было светло, Аллаверди-баба лежал рядом неподвижно. Кара-дайы знал, что больные в предчувствии смерти всегда нуждаются в телесном контакте с близкими людьми. За свою долгую жизнь он помнил много случаев, когда больные просили взять их за руку, положить руку на лоб, обнять их.

Кара-дайы непроизвольно взял свисающую с кровати тонкую руку Аллаверди-бабы, положил себе на колено и другой рукой легкими движениями пальцев стал массировать ладонь и запястье Аллаверди-бабы. Со стороны даже казалось, что Кара-дайы нащупывает пульс у больного. Худые, скрюченные пальцы Аллаверди-бабы напоминали высохшие ветки грушевого дерева.

Дочь Аллаверди-бабы тем временем вернулась с чаем для Кара-дайы.

– Деде, открой глаза, посмотри, кто пришел проведать тебя, – повторила она свою просьбу отцу. – Кара-дайы пришел, – и тут же ушла.

И старик неожиданно заговорил:

– От того, что Кара пришел проведать меня, в моих глазах светлее не станет. Открою глаза, увижу его, боюсь, как бы больше не потемнело.

Кара-дайы чуть не вскочил со стула, услышав эти слова. Он даже уронил руку Аллаверди-бабы, рука сползла вниз, слегка ударилась об пол и повисла. Кара-дайы можно было понять: разве такой ответ подобает мудрому старику, а? Если даже он доживает последние дни. Тем более, в разговоре с Кара-дайы. Нет, это было слишком. Жалость к умирающему Аллаверди-бабе, которая только-только пробивалась в душу Кара-дайы, моментально улетучилась и сменилась ненавистью к нему. Больше ничто не могло удержать Кара-дайы от вольной трактовки ситуации. Он посчитал себя свободным в дальнейшем поведении, хотя ради приличия пока сдерживал себя:

«На что же он намекает, этот самозванный Кёроглу?» – подумал при этом Кара-дайы. А тут еще и шайтан вернулся:

«Давай, Кара, врежь ему», – подталкивал он Кара-дайы к действиям.

Чуть позже, видимо, Аллаверди-баба попытался исправить свою ошибку:

– Кара, ты прости меня, помнишь, в детстве я скрутил тебе ухо?

Но было уже поздно. Кара-дайы был заведен.

«За кого он тебя считает?» – говорил шайтан.

«Он точно достанет меня», – подумал Кара-дайы, хотел резко ответить умирающему старику, но осилил-таки себя:

– Стоит ли старое вспоминать? – ответил он, еле сдерживая себя.

– Нет, ты прости меня, Кара, – медленно произнес старик.

– Считаю, что простил, Аллаверди, – ответил Кара-дайы, а сам в ярости закусил губу.

«Ну и дурак», – опять посмеялся шайтан.

– Я всё ждал, когда ты придешь, чтобы извиниться. А то, не дай Аллах, помер бы, не извинившись перед тобой.

Кара-дайы не хотел принимать никаких извинений!

«Тоже мне, ангелочек, – думал он, – тогда надо было об этом думать, когда чуть было не оторвал ухо ребенку».

– Ты опять выпивший, да, Кара? – спросил Аллаверди-баба.

Услышав слово «выпивший», шайтан насторожился, ушел в сторону и промолчал.

«Тебе-то какое дело, а? – думал Кара-дайы. – Выпивший, не выпивший», – но ответил, сдерживаясь из последних сил:

– Гости были, по-другому у меня не получается, сам знаешь.

– И не боишься ты, Кара?

– Поздно уже бояться...

– Отец твой тоже много пил, Аллах рахмат эласин, – замолк старик.

Каждое слово Аллаверди-бабы, с таким трудом выговариваемое им, выводило Кара-дайы из себя.

«Извини, Кара, что я тебе ухо скрутил в детстве». – Тоже мне, предсмертное признание, в рай, наверное, хочет попасть, – дальше завелся Кара-дайы с помощью шайтана. – «Извини, Кара». Надо было скрутить тебе яйца после войны, и знал бы ты тогда, как Кара тебя извиняет! А то восемьдесят лет ждал, чтобы извиниться! Тоже мне, герой! Особого ума не надо – скрутить ухо ребенку!»

И без шайтанских проделок было очевидно, что Кара-дайы прав по сути, совершенно прав. Если вы умираете, так умирайте спокойно, ай, Аллаверди-баба! Зачем старое ворошить? Вы же должны знать, что Кара-дайы не переносит воспоминаний о детстве.

Шайтан молчал, замолк и Аллаверди-баба.

Кара-дайы держался из последних сил, он хотел подняться и уйти, чтобы не говорить лишнего.

Но, с одной стороны, оставлять умирающего Аллаверди-бабу одного было нечестно, а с другой стороны, что-то заставляло его и дальше сидеть у постели больного, видимо, всё-таки шайтан ему не давал уходить.

«Сиди, – видимо, говорил шайтан, – все еще впереди».

– Абид давно не заходит. Говорят, в Баку поехал. Добром ли? – опять заговорил старик.

Вот тут лучше бы он молчал, зря он это спросил, зря.

Потому что дальше Кара-дайы себя не контролировал, к тому же тут и шайтан подсказал: «Врежь ему правду, давай, Кара!»

– Ага! Поехал! Только не в Баку, а в дубовую рощу он поехал!

– Какую дубовую рощу? – тихо спросил старик и открыл глаза.

– В нашу, – спокойно ответил Кара-дайы. – Поехал тебя встречать! Ждет он там тебя. Так что не тяни!

– Кого встречать? Ничего не пойму.

– А что тут понимать. Умер Абид-муаллим восемь дней назад.

– Как умер? – старик не поверил словам Кара-дайы.

– Как умер? Спокойно он умер! Вечером лег, утром не проснулся! Не то что ты!

Сто лет живешь на этом свете, так и не научился по-человечески умереть! Всё тянешь и тянешь!

– Он же еще молодой был, – произнес старик и закрыл глаза.

Кара-дайы только сейчас понял, что дочери, видимо, скрывали от отца смерть Абид-муаллима, что зря он проговорился. И в какой-то момент он даже пожалел об этом и готов был пожурить себя, как старого разведчика, необдуманно выдавшего бережно охраняемую членами этой семьи тайну.

Но тут старик открыл глаза и выпалил:

– А ты, Кара, злой человек!

Кара-дайы моментально вернул себя с дороги покаяния: он привстал со стула, отошел на шаг назад, стал ближе к ногам Аллаверди-бабы, чтобы видеть его глаза, и чуть ли не с криком спросил у него:

– Это я злой, да?! Это я, значит, отрывал ребенку-сироте уши, зная, что никто за него не заступится, да? Подобно чабану, который купирует уши недельному от роду беспомощному щенку?

После монолога Кара-дайы вернулся на исходное место, сел на стульчик и добавил:

– Я всё помню.

Старик на последнем вздохе тихо спросил:

– Ты для этого пришел, да, Кара? Позови Санам.

Звать Санам Кара-дайы не пришлось, она будто ждала этих слов отца. Открылась дверь веранды, и старшая дочь Аллаверди-бабы стала топтать к кровати. Кара-дайы встал, проговорил дежурную фразу, какую в таких случаях говорят зогаллинцы:

– Да будет Аллах тебе помощником, Аллаверди. Пусть он ниспошлет лекарства твоим болезням.

Аллаверди-баба не ответил, Кара-дайы медленно стал отходить от кровати больного. Шайтан его ждал внизу.

– Да вы даже чай не пили, – произнесла дочь Аллаверди-бабы.

\*\*\*

На следующий день с утра старику стало еще хуже, и он стал потеть. Пришлось отправить машину в Загаталу за доктором, у которого имелся переносной аппарат для электрокардиограммы. Электрокардиограмма в одно время как-то неожиданно вошла в число обязательных медицинских процедур по диагностированию тяжелобольных, и в Зогаллы она стала считаться необходимой проверкой больного перед смертью. Что интересно, доктора с этим аппаратом в Зогаллы привозили ко всем больным, чем бы они ни болели. Но самое интересное заключалось в том, что электрокардиограммой завершалась не только диагностика, но и лечение больного. Хотя логичнее было начинать лечение с электрокардиограммы. Разве зогаллинцев поймешь? Этот маленький аппарат, стуча, на глазах изумленных зогаллинцев на тонкой бумаге выдавал не только электрокардиограмму сердца, но и последний вердикт.

Чтобы уточнить состояние безнадежно больного, зогаллинцы между собой говорили:

– Кардиограмма тоже неважная. На всё воля Аллаха!

Бывало, что электрокардиограмма рисовала довольно обнадеживающие зигзаги работы сердца зогаллинского больного, но на следующий день он все-таки умирал от отказа почек или от цирроза печени. В подобных случаях показания электрокардиограммы впоследствии являлись своеобразным утешением для близких больного:

– Сердце у него работало, как у спортсмена, – вспоминали родные покойного, – если бы почки не подвели, жить бы ему до ста лет.

Или:

– Сердце у него било, как новозаведенные часы – тик-так, тик-так. Что толку, печень оказалась слабой.

И в этот раз вся родня Аллаверди-бабы собралась вокруг больного на консилиум и стала ждать, что выдаст маленький аппарат загатальского доктора. Аппарат сперва вообще молчал, потом пыхтел с полминуты и, к всеобщему разочарованию, начал выплевывать ленту с почти прямой линией по центру с небольшими отклонениями, подобно линии, которую обычно проводит первоклассник с помощью линейки в своей школьной тетради.

Качал головой доктор, качали головами многочисленные представители родни.

– На всё воля Аллаха, – сказал доктор и стал закручивать провода аппарата и складывать в сумку.

Дочери готовы были в тот же час начать оплакивать отца, но отец еще дышал. Поэтому пришлось отложить и это малоприятное мероприятие. К тому же старику вдруг захотелось супа – любимого фасолевого супа зогаллинцев. Вечером он открыл глаза и медленно произнес:

– Завтра на обед приготовьте суп из мелкой фасоли.

Дочери на радостях ответили:

– Хоть из мелкой, хоть из крупной! Из какой прикажешь, из такой приготовим.  
– Не дожидаясь завтрашнего дня, с вечера приготовили суп.

Между прочим, позже, когда об этой неосуществленной предсмертной просьбе старика рассказали Кара-дайы, тот, не раздумывая, выпалил:

– Хорошо, что не успел поесть, а то на прощание наградил бы он нас еще и артиллерийским огнем, – имея в виду «расслабляющие» свойства фасолевого супа.

А умер Аллаверди-баба на следующий день под утро, когда дежурившие рядом дочери не выдержали и заснули.

Первой проснулась младшая дочь и подняла такой вой, будто умер не столетний старик, а роту молодых солдат уничтожило перекрестным огнем у нее на глазах. Заодно она разбудила и старших сестер, которые по части причитания ни в чем не уступали младшей.

Похороны «великовозрастных» людей, какими бы они ни были при жизни уважаемыми, в Зогаллы, как правило, проходят спокойно, без лишних криков и плача близких и родственников. Смерть старых людей зогаллинцами воспринимается спокойнее и сдержаннее. Потому процесс оплакивания длится недолго и носит чисто символический характер. Провожая в последний путь прожившего достаточно лет человека, зогаллинцы больше думают о достойных поминках, нежели о самом событии.

Но на этот раз не тут-то было. Проснувшиеся дочери с таким криком побежали к мулле Байраму, что напугали не только его, но и его жену. Благо, тот жил по соседству, явился моментально и прочел над покойным молитву *кялмейи-шаадет* (исповедание веры).

С утра пошел небольшой дождь, позже дочери во время оплакивания ссылались и на это природное явление. В Зогаллы любое природное явление, которое случается в день похорон, будь это шквальный ветер или моросящий дождь, снег или даже град, плакальщицами трактуется в пользу умершего. Считается, что даже природа встревожилась этой вестью и свою грусть выразила в виде дождя или снега.

Начало процесса оплакивания было классическим: судя по причитаниям, смерть Аллаверди-бабы оплакивали высокие и могучие горы, по нему ревело небо, плакали облака. Обращение к горам во время душевных страданий и невосполнимых потерь в Зогаллы обязательно, считается, что горы обладают особой способностью доставить горе ко Всевышнему, оповестить его о случившемся.

Дальше тоже всё шло по общепринятому сценарию:

– На кого ты нас оставляешь, деде? – спрашивали у мертвеца и хором плакали дочери.

Деде, естественно, не отвечал, на кого он оставляет своих дочерей, как бы давая им возможность самим догадаться, на кого он их всё-таки оставляет. Но дочери не думали догадываться, поэтому с упорством, присущим только им, в течение получаса пытали мертвеца этим вопросом, а привычные к подобным причитаниям зогаллинцы молча сочувствовали. Но когда через полчаса, уткнувшись носом в грудь покойного отца, старшая дочь Санам в очередной раз спросила у отца:

– На кого? – кто-то из присутствующих на похоронах зогаллинцев не выдержал и прокричал из толпы:

– Видишь, не отвечает, не мучь старика! – народ развеселился, и, как ни странно, дочери больше не стали с этим вопросом приставать к покойнику.

Но лучше не стало. Со временем процесс оплакивания в исполнении дочерей покойного Аллаверди-бабы, на радость присутствующих, превратился в концерт. Пока народу было мало, плач у них был обычным, а ближе к обеду, когда зогаллинцы заполнили весь двор, плач дочерей принял душераздирающую форму. Что интересно, несмотря на все их старания, прибывшие на похороны зогаллинцы почему-то не хотели их поддержать и хотя бы ради приличия пустить слезу.

Особенно при этом старалась старшая дочь. Не найдя слов, доводящих собравшихся до слез, она начала рыдать с причитаниями, которые привели зогаллинцев в настоящий восторг:

– Еще не остыл в большой кастрюле заказанный тобой фасолевый суп! Даже суп из мелкой фасоли не успел поесть, голодный ушел, бедный отец, как нам пережить это горе? – плакала она под насмешки зогаллинцев.

Между прочим, вот уже сколько лет прошло после смерти Аллаверди-бабы, а его дочери и сегодня при упоминании имени отца обязательно вспоминают о том, что их отец умер, так и не поев заказанный им суп из мелкой фасоли.

Младшие дочери рыдали с неменьшим энтузиазмом.

– Бедный дед, – говорила вторая дочь, – всего один год не дожил до ста, ушел молодым. Неужели Аллах счел этот год лишним?

Зогаллинцев тяжело было удержать от смеха.

Третья дочь быстро сообразила, что не стоит придирается к Аллаху, она тут же исправила ошибку второй:

– Чтобы я стала жертвой Аллаха! Он любил тебя, дед! И все знают, что забереет он тебя к себе, в рай! Место твое в раю, отец, только в раю!

Самое интересное началось чуть позже, когда инициативу опять взяла в свои руки, точнее, на свой язык, старшая дочь Санам, не к месту вспомнив, чем увлекался старик при жизни:

– Огурцы он у нас любил, огурцы! Чтобы лопнули мои бока, как он любил огурцы!

Младшие подхватили клич старшей сестры и хором кричали:

– Огурцы, народ, огурцы!

Если бы не мулла Байрам, неизвестно, как долго они вспоминали бы огурцы покойного отца. Мулла Байрам под смех присутствующих приблизился к старшей дочери Аллаверди-бабы и попросил ее:

– Санам, перестаньте про огурцы, неудобно перед людьми, смеются.

По указанию мoulлы Байрама дети наконец-то утащили матерей от покойника и казалось, что вернули мероприятие в привычное русло, и присутствующие облегченно вздохнули. Но рано они обрадовались.

Когда подошло время нести покойника на кладбище, все три дочери пластом постелились на табут (*погребальные носилки*), не давая поднять его на плечи и вынести со двора. Внуки и правнуки, сколько ни старались, не смогли их оторвать от покойника. Срывался график траурного мероприятия, поэтому, не выдержав, мулла Байрам громко пригрозил им:

– Если вы так сильно любите своего покойного отца, так ложитесь рядом с ним в табут – и похороним вместе с отцом!

Предупреждение возымело свое действие: ни одна из дочерей не захотела быть похороненной вместе с отцом, как бы глубоко они его ни любили. Вытирая опухшие глаза и поправляя подолы длинных черных туманов, сестры отошли от табута.

Табут с телом покойного приподнимали три раза, затем опускали на землю. По дороге в дубовую рощу внуки и правнуки так высоко держали табут, что кто-то из похоронной процессии даже подшутил:

– Если Аллаверди-баба захочет дотянуть до ста и решится в последний момент выпрыгнуть из табута, он точно себе руки и ноги сломает, как в молодые годы.



– Ему к переломам не привыкать, – ответил другой.

Аллаверди-баба, естественно, не слышал реплик земляков, он спал вечным сном и не захотел жить до ста, поэтому был похоронен с целыми ногами и руками, без травм.

Вообще-то похоронная процессия напоминала толпу футбольных болельщиков, только что вышедших со стадиона после выигранного матча любимой команды. По дороге в дубовую рощу обсуждалось всё – всё, кроме смерти Аллаверди-бабы. Никто его не жалел. Шедший впереди похоронной процессии мулла Байрам всё торопил несших табут, часто показывая на часы.

Похоронили Аллаверди-бабу недалеко от Абид-муаллима. Став ближе к краю могилы, мулла Байрам читал молитву «Ясин». После этого покойного опустили в могилу и уложили на правый бок лицом в сторону Мекки. Мулла Байрам прочел молитву «Телгин», объяснил покойному Аллаверди-бабе (если конечно, покойники слушают мулла перед погребением), как правильнее отвечать на вопросы могильных ангелов Инкира и Минкира. Оказывается, Инкир и Минкир ужасно не любят, когда покойник не отвечает или неправильно отвечает на их вопросы, и страшно за это мучают его.

Убедившись в том, что покойный подготовлен достойно, мулла Байрам отошел в сторону и дал знать, что пора действовать. Быстро могилу засыпали землей, предварительно закрыв ее каменными плитами. По знаку муллы Байрама присутствующие произнесли «Фатихе», сам мулла Байрам прочел суру из Корана «Алейхим». На этом завершили поминальную службу в дубовой роще, и участники похорон весело вернулись в дом усопшего, где по нему справлялись поминки.

К удивлению зогаллинцев, сами поминки по Аллаверди-бабе прошли тихо, но почему-то никто из присутствующих не захотел сказать добрые слова об усопшем, что само собой разумеется на таких мероприятиях. Не выдержал мулла Байрам:

– Ну что вы молчите? Неужели никто не скажет хоть одного доброго слова о покойном Аллаверди-бабе?

Все молчали, смотрели друг на друга. Тут местный цирюльник поднялся и сказал:

– Аллаверди бабу было так легко брить. У него была хорошая, мягкая кожа, мало у кого в Зогаллы такая кожа, – сказал он и присел.

\*\*\*

С похорон Аллаверди-бабы Кара-дайы вернулся с испорченным настроением. Впрочем, было бы нелогично, если бы он вернулся оттуда в приподнятом настроении. К тому же всю дорогу к нему приставал шайтан, на каждом шагу напоминая ему, что недалек день, когда точно так же его проводят в последний путь. На сегодняшних похоронах Кара-дайы больше всего поразило безразличие односельчан к смерти Аллаверди-бабы. Кроме трех истеричных дочерей, больше никто не убивался, никто не горевал, было ощущение, будто зогаллинцы только и ждали этого дня, когда умрет Аллаверди-баба.

– А ты как думал? – подсказывал тем временем шайтан. – Точно так же похоронят тебя, с шутками и прибаутками. Ничего, Кара, готовься!

Пить спиртное в день похорон в Зогаллы не принято. Но у Кара-дайы не было выхода, ситуация была критическая: еще немного, и шайтан добил бы его. Войдя во двор, первым делом Кара-дайы прошел в кухню, незаметно для жены взял с полки свою стопку и положил ее в карман. Кстати, пора описать и его знаменитую стопку, многолетнюю соратницу Кара-дайы в деле ликвидации, как он любить выражаться, «его злейшего врага» – домашней водки. Потому как лично я с первого дня нашего знакомства, точнее, с первого нашего застолья обратил внимание на эту коротышку. Еще тогда я успел заметить различие в наших емкостях, куда наливалась та домаш-

няя жидкость, которая из года в год летом и осенью изготавливалась Кара-дайы, а потом в течение года им же в компании приятных и близких ему людей «ликвидировалась». Так вот, эта соратница, я имею в виду стопку, внешне где-то даже была похожа на хозяина – такая же крепышка, но невысокого роста. Была она из толстого стекла, с едва различимыми гранями. Я даже подозреваю, что грани стопки стерлись от частого, почти ежедневного объятия ее грубыми ладонями Кара-дайы. Была она вместимостью не более семидесяти-восьмидесяти граммов. Но Кара-дайы когда пьет, он ее никогда не заполняет до краев, всегда наливает ниже середины стопки. Таким образом, получается, что Кара-дайы, когда пьет, то наливает себе не более тридцати граммов домашней водки.

Одним словом, взяв стопку, Кара-дайы направился в скотный сарай, к тайнику, где у него хранилась водка. До последнего шайтан не отставал от него:

– Испугался, да, Кара? – спросил он у Кара-дайы, когда он достал бутылку из тайника.

– Сейчас я тебе покажу, кто испугался, – ответил Кара-дайы и налил водки в стопку.

После второй стопки шайтан замолк. Перед третьей стопкой к Кара-дайы вернулась былая жизненная уверенность, он даже шайтану предложил пить с ним:

– Будешь? – спросил Кара-дайы у него и, не дождавшись ответа, сам же ее опрокинул.

Внутри всё горело, три стопки водки разбудили у Кара-дайы такой аппетит, что он только сейчас вспомнил, что сегодня ничего не ел. Кара-дайы поспешил в кухню, но прежде он закрыл двери скотного сарая и издевательски предложил шайтану:

– Пойдем поужинаем! Я приглашаю. Ты тоже сегодня ничего не ел. Целый день ходишь за мной. Жена хороший фасолевым суп приготовила.

Шайтан не отвечал. Он исчез.

\*\*\*

Зогаллинцы были уверены, что Аллаверди-баба обязательно попадет в рай, тем более, что мулла Байрам уверял всех, что «Телгин» он читал без ошибок. Об этом шла речь на поминках и на третий день, и и на седьмой. Предсказать, куда попал умерший недавно Абид-муаллим, никто не решался, ибо, по словам зогаллинцев, «за ним числилось немало грехов».

– Как, впрочем, за каждым из нас, – тут же добавляли зогаллинцы.

Жить бы зогаллинцам и дальше в таком глубоком неведении, не будь очередного случая. А случай этот произошел ровно через десять дней после похорон Аллаверди-бабы. Взобравшись у себя во дворе, в обед, в присутствии жены и нескольких соседей, которые внизу держали лестницу, на шестиметровый электрический столб, электрик Ибрагим в очередной раз перепутал фазу с нулем.

На этот раз удар был настолько сильным, что он, как созревшая груша (выражение зогаллинцев), упал с вершины лестницы. Внизу, на земле он моментально потемнел и, как позже выяснилось, перенес клиническую смерть. Кто-то из соседей подсказал закопать его в землю – якобы, таким образом электрический заряд уходит от пораженного током человека в землю и будто бы не одного электрика в мире таким способом спасли.

– Далеко ходить не надо, мугала-электрика из соседней деревни дважды закарывали, – кричал он, хватаясь за лопату. Так он убеждал остальных соседей, которые никак не решались закопать пока еще живого Ибрагима.

Одним словом, тут же, на грядках молодого лука, оперативно была выкопана небольшая яма. Соседи опустили Фазу Ибрагима в яму и по шею закопали в землю. Всё это происходило на глазах у изумленных детей и сопровождалось криками жены.

Каково же было удивление присутствующих, когда через пять минут постепенно темнота стала сходить с лица Фазы Ибрагима, и еще через десять минут он открыл глаза и произнес:

– Анас-сыны, неужели вернулся? – выругался он и глубоко вздохнул.

– Куда бы ты делся? – ответил сосед, инициатор закапывания. – Если что, закопали бы чуть глубже и делу конец!

Под смех остальных и радостные вопли детей Ибрагима быстро раскопали и бережно достали из ямы, будто космонавта вынимали из спускаемого космического аппарата. На земле Ибрагим первым делом отчитал соседей за то, что те закопали его на грядках молодого лука. Указав рукой в сторону фундукового сада, он сказал:

– Надо было закопать в фундуковом саду, там земля свежее будет. Тут навозом пахнет, – не далее как два месяца назад он лично эту почву обильно удобрил навозом под лук.

– Если на то пошло, свежее, чем в дубовой роще, в Зогаллы земли не найти, – отшутился тот же сосед, и Ибрагима занесли в дом, потому что сколько он ни старался встать на ноги, они его не слушались.

Через час все в Зогаллы только и судачили о том, как Фазу Ибрагима ударило током, как он упал со столба и каким способом его «вернули с того света».

Первым делом повидаться с ним и проведать его прибежали соседи и близкие родственники. К вечеру количество желающих проведать Ибрагима сильно возросло. Потому что «вернувшийся с того света» Ибрагим рассказывал о «том свете» такие вещи, что обескураженные зогаллинцы спешили узнать подробности от первоисточника.

Поздно вечером слухи дошли и до Кара-дайы, и он, несмотря на дождь и поздний час, немедля направился в дом Ибрагима.

Когда Кара-дайы заходил во двор Ибрагима, расходились последние проведывающие больного. По их словам, к вечеру у Ибрагима резко поднялась температура, держалась с полчаса, потом так же резко упала.

– Как напряжение в сети, – образно выразился один из проведывающих.

После перепада температуры Ибрагим перестал рассказывать о «том свете», откуда он «вернулся».

– Видимо, предохранитель сгорел, – добавил этот же проведывающий, продолжая шутить.

Другие проведывающие объясняли молчание Ибрагима наступлением темноты, потому как, по их словам, по вечерам и ночью о «том свете» рассказывать нехорошо.

– Сейчас он себя чувствует хорошо, но молчит! – передали Кара-дайы недвольные уходящие проведывающие. Они были несколько обижены тем, что именно на них Ибрагим прервал свой рассказ.

– С утра заговорит, наверно! – с надеждой добавили они.

Кара-дайы покачал головой в знак понимания, но вернуться назад при этом даже не подумал и решительно направился в дом Ибрагима.

Войдя в дом, Кара-дайы увидел идиллическую картину, в которую вылилась неопишуемая радость детей Ибрагима: один из них расчесывал ему волосы, а двое других, сидя на кровати с разных сторон и держа в руках обожженные руки отца, массировали его пальцы. Жена Ибрагима виноградной водкой растирала мужу ноги.

Заметив входящего без стука Кара-дайы, жена Ибрагима покраснела, закрыла голые ступни мужа одеялом и встала:

– С добром пожаловали, Кара-дайы!

– Спасибо, дочка, спасибо, – ответил Кара-дайы и издали пожурил Ибрагима.

– Сколько лет работаешь, пора бы научиться отличать друг от друга эти провода!

Молчавший весь вечер Ибрагим заговорил:

– Только дотронулся, да так шарахнуло!

Засмеялись дети, улыбнулась жена Ибрагима, радуясь, что муж опять начал говорить и побежала за табуретом для Кара-дайы.

– Фазой, наверно? – пошутил Кара-дайы, присаживаясь на табурет, поднесенный женой Ибрагима.

– А чем еще? – поддержал шутку Кара-дайы Ибрагим.

– Ой, Кара-дайы, как хорошо, что вы пришли. А то молчал он последний час, а я не знала, что и думать, – поблагодарила таким образом жена Ибрагима Кара-дайы. – Я сейчас чай приготовлю.

Дети отпустили руки отца и с интересом смотрели на Кара-дайы – видно, первый раз видели его так близко.

– Ну, расскажи, – не стал тянуть Кара-дайы, – кого ты там видел?

Ибрагим сразу догадался, что Кара-дайы в курсе его приключений на «том свете».

– А что рассказать-то? – скромничал Ибрагим.

– Всё! Всё расскажи! С кем виделся, что говорили они тебе? Всё и подробно!

– Страшно как-то, Кара-дайы. Как в кино. Целую неделю не было ведь электричества в деревне. Вот я и поднялся, уверенный, что нет света, голыми руками как схватил, в этот момент, видимо, и дали свет. Как шарахнуло, не помню, как сорвался и как упал на землю, ничего не помню.

– Как ты сорвался и как упал на землю, помнят другие. Не первый раз падаешь. И мне это неинтересно. Ты лучше расскажи, что было дальше?

– Что было дальше? Дальше было как в сказке. Вижу, что меня по темному коридору куда-то ведут. Таких, как я, много, и всех ведут. Что интересно, все молча идут. Только я стараюсь вырваться. Кричать не могу, но ногами упираюсь, а эти все равно тянут меня. И старший их ходит по коридору и гоняет всех:

– Давайте быстрее, давайте быстрее!

Возле каких-то ворот старший, заметив, как я упираюсь, спросил у тех, которые меня вели:

– А этого куда ведете? – на меня показал.

– Как куда? Туда, куда и всех, на допрос к Инкиру с Минкиром.

А я начал всё больше сопротивляться. А старший посмотрел на меня и сказал этим:

– А разве не видите, что ему еще рано на допрос? Бросайте его, ведите другого. Ему еще рано.

Те моментально бросили меня, схватили другого и повели. И старший отвернулся. Опять начал кричать на всех:

– Давайте быстрее, давайте быстрее!

А я стоял в стороне, никто меня не замечал, мимо меня вели и вели людей. Одних вели мимо меня и мимо ворот – на допрос, а других возвращали – с допроса, видимо, открывали ворота и толкали туда.

Как их били, Кара-дайы, надо было видеть. Что интересно, всех толкали в одни ворота. Открывали ворота – и пинком под зад как дадут! Толкали туда и сразу же закрывали. Так быстро закрывали, чтобы те не вышли обратно.

А вторые ворота были открыты, многие рвались туда, но в те ворота никого не пускали, всех силой оттаскивали назад. Пока я стоял там, никого не пустили в открытые ворота.

– Узнал кого-нибудь?

– Ага, узнаешь. Народу полно, поди узнай. Нет, конечно, никого я не узнал! Все одинаковые на лицо, мрачные такие, особенно после допроса.

– И что дальше было?

– Не поверите, Кара-дайы. Вдруг из открытых ворот кто-то стал меня звать.

– Ибрагим, – кричал, – подойди сюда!

– И кто звал тебя? – Кара-дайы вспотел.

– Кто, кто? Посмотрел, глазам своим не поверил – так это же наш Кёроглу! Аллаверди-баба! Такой чистый, бритый, усы стоячие такие, будто проволока их держит. И звал меня к себе, энергично махал рукой:

– Подойди сюда, – говорил, – Ибрагим! Подойди поближе.

Я подошел. Вот не помню, поздоровались мы за руку или нет. Хоть убейте, не помню. А он у меня спрашивает:

– А ты что тут делаешь, Ибрагим?

Если бы я знал, что я там делаю. Взял и ему всё рассказал. Поднялся, говорю ему, на лестницу, на столб, что у меня во дворе, там, где молодой лук, там меня током и ударило. А больше ничего и не помню. А он покачал головой и спросил у меня:

– Ты хоть знаешь, куда ты попал, Ибрагим? Ты хоть знаешь, что это за ворота? Смотрю на него, и не понимаю, что за экзамен он устроил:

– Откуда мне знать, – отвечаю, – я первый раз тут.

Посмеялся, подтянул брюки, поправил рубашку, аккуратный, как всегда:

– Сейчас расскажу, узнаешь. Вот эти ворота, Ибрагим, – сказал мне Аллаверди-баба и указал на закрытые ворота, – это ворота в ад. А вот эти ворота, – на свои показал, – ворота в рай.

– Что-что, еще раз, Ибрагим, ничего не понял, – напрягся Кара-дайы.

– Что тут понимать-то. Показал свои ворота, похвастался, мол, знай, Ибрагим, я в раю.

– Добрался-таки! – сказал Кара-дайы и нервно сплюнул.

Возникла пауза, которую он же прервал:

– И как ему там?

– Скучно! Да, да, Кара-дайы, он сам мне признался:

– Скучно мне тут, Ибрагим, – сказал он мне, – чтобы ты знал. Очень скучно. Никого из наших, зогаллинцев, нет тут со мной. Вроде, всё есть, ешь – не хочу, гуляй – не хочу! Но ни одной знакомой души. Ни одного зогаллинца!

А я, грешным делом, еще спросил у Аллаверди-бабы:

– Так а где же наши тогда? Столько хороним, и мулла Байрам, вроде, научился читать.

А он дрогнувшим голосом ответил:

– Вот там все наши, – и показал на ворота ада. – Все до единого. Не знаю, как мулла Байрам читает, но наших всех туда направляют. А тут только я. Мне одному тут очень скучно! – повторил он.

Кара-дайы снял с головы кепку, вытер вспотевший лоб и прошептал:

– А Абид-муаллим? Ты его не видел?

– Кого не видел, того не видел! – вздохнул Ибрагим. – Я еще у Аллаверди-бабы интересовался, куда Абид-муаллима распределили? А он только пожал плечами:

– И тут, в раю, его нет, и там, в аду, тоже не видно! Его, наверно, еще допрашивают.

– Неизвестно, кто кого допрашивает, – зло посмеялся Кара-дайы. – С Абид-муаллимом они еще долго помучаются.

– А я о чем, – покорно согласился Ибрагим. – Абид-муаллим так быстро не сдастся. Он их замучает.

– А что, во всем раю из наших только один Аллаверди, что ли? – вернулся Кара-дайы к Аллаверди-бабе.

– Ну да, – бодро ответил Ибрагим. – Из наших он один. Остальные не наши.

– Как остальные? Ты же говоришь, что никого там больше нет.

– Как нет, есть! Кара-дайы, даже язык не поворачивается сказать. Я никому еще не говорил, но вам скажу. Остальные все – мугалы! Вот так вот!

– Что получается? На весь рай из Зогаллы один человек? – Кара-дайы возмутился столь несправедливым распределением зогаллинцев после смерти.

– Может, Абид-муаллим еще прорвется, – неуверенно сказал Ибрагим.

– Прорвется?.. – задумался Кара-дайы. – Ага, жди. Это тебе не баню в деревне строить... А ты смотри, этого усатого прямиком туда. За какие, интересно, заслуги? То, что он в молодости издевался над ребенком-сиротой – забыли, да?

Ибрагим, как и все зогаллинцы, знал о натянутых отношениях между Кара-дайы и Аллаверди-бабой при жизни последнего, он также знал причину этих отношений. Поэтому ему пришлось поддержать в этом вопросе Кара-дайы, согласиться с ним:

– Столько лет прошло. Может, действительно забыли.

– Чудны дела Всевышнего, – проговорил Кара-дайы. – Издевательства молодого садиста над малолетним ребенком забываются, а то, что человек у себя дома тихо и мирно, с хорошим настроением и мирными намерениями попивает напитки собственного изготовления – не забывается. Если, конечно, верить мулле Байраму.

– Вот именно, – согласился с Кара-дайы Ибрагим, потому как он тоже был заядлым любителем этих напитков. – С вечера жена виноградной водкой растирает ноги, чтоб полегчало. Отец твой рахматлик, говорю я ей, если хочешь, чтобы мне полегчало – дай граммов двести-триста приму вовнутрь, и сразу полегчает и я приду в себя. Она – нет, нельзя тебе, говорит. А мне так и хочется взять, да и выпить хотя бы граммов сто! С другой стороны, я так боюсь, Кара-дайы! Я же видел, как их за-талкивали в ад!

– Хватит тебе! Что дальше было? – прервал его Кара-дайы.

– А что дальше? Яблоки райские ему не понравились. Он мне так и сказал:

– Ибрагим, – сказал он мне, – что-то яблоки мне здешние не понравились. Есть, конечно, наверняка можно, но я не пробовал, потому что на вид они никакие. Наши, зогаллинские, лучше выглядят.

– Так и сказал, да? – уточнил Кара-дайы.

– Да! – подтвердил Ибрагим.

– Вот человек, а! Ты сперва возьми, откуси и попробуй, сладкие, кислые – какие они? – возмущался Кара-дайы. – Только потом заявляй, хорошие они или нет...

– Да, действительно, – и тут согласился Ибрагим.

– Огурцы райские хоть понравились ему? – съехидничал Кара-дайы.

– Насчет огурцов ничего не сказал, – ответил Ибрагим.

– Хорошо, что дальше было?

– Что еще? Ну да, жаловался Аллаверди-баба, что ему одному скучно в раю. Ни одного зогаллинца, одни мугалы вокруг. Тут, конечно, я его понимаю, и мне тоже скучно было бы.

– А ты что ему?

– А я что? Успокаивал его. Потерпите, сказал, Аллаверди-баба, появятся скоро наши. Вон сколько достойных мужиков на подходе. Один Самед-дайы чего стоит. В последнее время часто болеет, между прочим, и возраст у него подходящий. И Кара-дайы тоже не маленький. Правда, пока еще держится. Он тоже не вечный. С удовольствием, наверно, согласился бы сюда, к вам в рай.

Кара-дайы слушал Ибрагима с открытым ртом, последние слова буквально убили его. До сих пор он не допускал, что его самого тоже с такой легкостью можно отправить на тот свет. Тут же появился шайтан, усмехнувшись, стал потирать руки.

Но Кара-дайы не хотел умирать, он не хотел никуда, ему и в этом мире хорошо жилось. С другой стороны, Кара-дайы не знал, как остановить Ибрагима. А того, видимо, замкнуло в очередной раз:

– Когда Аллаверди-баба услышал ваше имя, Кара-дайы, вы, конечно, меня извините, знаете, что он сказал?

– И что он сказал? – встрепенулся Кара-дайы.



– Если Самед придет, сказал он, будет неплохо. Я сам, сказал он, отворю ему ворота. А если, не дай Аллах, Кару определят сюда, я лично закрою ворота, чтоб он не мог зайти! Нельзя, сказал, чтобы этот алкоголик оказался тут. Он тут окончательно сопьется. Тут, сказал он, столько вина, всякого спиртного. Но никто не пьет, пьют только соки, чай, компоты и сладкие напитки!

– Если я попаду к нему, запомни, Ибрагим, возьму его за усы и через забор переброшу в ад! Чтобы он мне не указывал, что пить, а что нет!

В вопросах питья Ибрагим был солидарен с Кара-дайы – впрочем, как и большинство зогаллинцев того времени, поэтому тут же поддержал его:

– Я тоже так думаю, Кара-дайы! Какое твое дело, ай Аллаверди-баба, спрашивается, Кара-дайы взрослый человек, что захочет, то и выпьет.

– Ну хорошо, а что дальше-то было? Как ты назад вернулся?

– Старший, что ходил по коридору, увидев меня, как закричал:

– Ты еще здесь? – спросил он, – Тебе же сказали, что еще рано! А ну, давай обратно!

И Аллаверди-баба сказал мне: «Давай, Ибрагим, назад, а то запихают в ад».

– Запихают в ад, – опять съязвил Кара-дайы. – Видишь, Ибрагим, какой он? Сам сидит в раю, а тебя адом пугает. Нет, чтобы открыть ворота и впустить тебя. Что плохого ты ему сделал? Сколько раз ты ему электричество чинил. Забыл всё!

– И это правда, – согласился Ибрагим. – С другой стороны, хорошо, что не впустил. А то что было бы со мной? Да ну его. Хорошо, что я проснулся.

– То, что ты проснулся, это действительно хорошо. Но надо было у этого уса-того бесстыжого всё-таки спросить: «И что тебе плохого сделал Кара, что ты ему ворота закрываешь, а?»

– Не догадался, Кара-дайы, извините, – оправдывался Ибрагим.

– Всё-таки надо было, – повторил Кара-дайы. – Сейчас уже поздно, конечно. Ну, если еще раз занесет тебя туда, поинтересуйся, хорошо?

– Нет-нет, Кара-дайы! Лучше уж вы сами! Я больше туда не хочу. Вы раньше меня попадете туда, вот сами и спросите. Я молодой, мне еще рано.

– Никто не знает, кто раньше попадет туда, – моментально пробурчал Кара-дайы и задумался. Почесал затылок и, к изумлению детей, громко рассмеялся. Потом встал со стула, пожал руку Ибрагиму:

– Выздоровливай, Ибрагим! Да ниспошлет Аллах здоровье тебе.

– Спасибо, Кара-дайы! Спасибо, что нашли время и пришли навестить меня в такую погоду.

Ибрагим привстал и спросил у уходящего Кара-дайы:

– Может, старший проводит вас до дома, Кара-дайы? – показал на старшего сына. – Темно-то на улице, ничего не видно.

Кара-дайы обернулся и ответил:

– Конечно, темно. С таким электриком, как ты, другого и нельзя ждать. Вместо того, чтобы заниматься делом, шляешься, черт знает где!

\*\*\*

На улице было действительно пугающе темно. Как назло, накануне в Зогаллы погас последний уличный фонарь. Иногда, когда давали электричество, этот высокий фонарь сообщал всем зогаллинцам: «Деревня жива, она не умерла, придет время, дай Аллах, я буду и днем гореть, и ночью. Днем – если, конечно, не отключите» – говорил фонарь.

«И днем отключим, и по ночам отключим! Не видать вам света! Будем держать зогаллинцев, как кротов в темноте», – отвечал ему шайтан.

Оказалось, что перегорела лампочка или шайтан привел её в негодность. Кто ее знает. Ибрагим после обеда собирался менять лампочку, но после случившегося с ним несчастья желающих лезть на столб в деревне не нашлось.

– Кому-то придется лезть на столб, – говорили старики в присутствии молодежи на стоянке возле правления бывшего колхоза, все молча отворачивались.

– Вот деревня! Кроме Ибрагима некому даже на столб лезть, – жаловались старики. – Дожили!

«Впредь зогаллинцам наверх путь закрыт! Я закрыл вам эту дорогу. Ибрагим пробовал и получил! Ныряйте вниз, в землю, в дубовую рощу! Кроты!» – издевался шайтан.

\*\*\*

Последние слова Ибрагима заставили Кара-дайы задуматься. Всю дорогу он вертел головой и оглядывался, будто ждал чьего-то нападения. А тут еще и шайтан стал нашептывать ему:

– Напрасно крутишь головой, уважаемый аксакал. Ой, напрасно. Рано или поздно все будут там.

Подобные «успокаивающие» советы от шайтана, да еще на ночь глядя, перед сном, пугали Кара-дайы. То какой-то невидимый страх охватывал его, то какое-то блаженное успокоение приходило к нему:

– С одной стороны, бес-то прав. Не я первый, не я последний. С другой стороны... Нет, нет, еще не время.

Кара-дайы не помнит, как вошел во двор. Он тихо поднялся на веранду, так же тихо зашел в комнату, чтобы не разбудить жену, разделся и попытался заснуть под одеялом. Жена рядом сопела. Заснуть у Кара-дайы не получилось, поиски сна затянулись. Кара-дайы крутился в постели. Давно с ним такого не было. Через час ему показалось, что у него болит под левой грудью, и эта боль тянется дальше, вдоль ребер, до левой лопатки. Он положил руку на грудь и по стуку определил, что сердце работает медленнее обычного, что оно вот-вот остановится. После трехкратного глубокого выдоха Кара-дайы восстановил нормальную работу сердца. Он присел в постели и тихо сам у себя спросил:

– Неужели это конец?

Через несколько минут та же самая боль повторилась, на этот раз она отдала в шею. Что-что, а шея у него никогда не болела. Глубокие выдохи на этот раз не помогли. «Что делать, может жену разбудить?» – подумал Кара-дайы.

Шайтан неустанно наблюдал за ним.

– Будто он меня даже торопил, – вспоминает позже Кара-дайы. – «Давай, Кара, – говорил шайтан, – решился помирать, помирай, не тяни», – и смеялся.

Но Кара-дайы не хотел умирать. И вдруг (вдруг ли?) Кара-дайы вспомнил о тайнике на втором этаже, там, внизу, в шкафу, за телевизором. Как он мог забыть об этом? Вот оно, спасение! Какой-то паршивый шайтан мало того, что ему не дает спать, еще умирать заставляет. Он сейчас покажет этому шайтану. Всё покажет!

Кара-дайы не стал даже одеваться. Накинув на плечо старый пиджак, он вышел на веранду. Открыл хлебницу и отломил кусок тандирного хлеба, положил в карман пиджака, в другой карман он положил любимую стопку и только после этого медленно поднялся на второй этаж.

– Главное для меня было подняться и дойти. И всё. Потом я знал, что мне надо делать, – многозначительно говорит сегодня Кара-дайы, будто на втором этаже у него появились бы другие способы борьбы с шайтаном. Было понятно, что если Кара-дайы в ту ночь, взяв кусок хлеба, направлялся к бутылке с домашней водкой, то он не нюхать ее шел и, конечно же, не собирался этот напиток лить на голову шайтана.

– Я же на самом деле не пить собирался, хотя пришлось выпить, – скромно оправдывается сегодня Кара-дайы, которому я не верю. – Я собирался изгнать шайтана, добить его! Я устал от него!

Луна так ярко освещала комнату, будто она находилась не где-нибудь за тысячи километров, а рядом, над окном второго этажа. Кара-дайы без труда нашел тайник, засунул в него руку и достал маленькую бутылку. Он выпил подряд три стопки и при этом, как ни странно, каждый раз смеялся над шайтаном:

– Получай! Как ты ко мне, так и я к тебе! – говорил он, с каждым разом всё увереннее.

После трех стопок страх перед шайтаном улетучился, за страхом улетел и сам шайтан. После четвертой стопки исчезли боли в шее и под лопаткой. Сердце стало работать в привычном ритме.

Высокий градус тутового первача сразу дал о себе знать. Кара-дайы закрыл бутылку и поставил ее в тайник. Он почувствовал необыкновенную легкость. Рискуя упасть и переломать кости, Кара-дайы спустился, достал из кастрюли небольшой кусок брынзы, неспеша поел. Потом он достал еще один кусок, потом еще один. Запил холодной зогаллинской водой, и только после этого лег рядом с женой.

\*\*\*

На следующий день Кара-дайы проснулся очень поздно, было около десяти часов утра. Кара-дайы неспеша оделся и вышел, при этом он долго искал левый носок, который никак не мог найти.

Носок он искал минут десять, не найдя, позвал жену. Еще десять минут прошло, пока жена появилась в комнате и подключилась к поиску носка. Носка не было. Искали везде, став на табурет, Кара-дайы осмотрел даже верх шифоньера. Только ближе к одиннадцати часам они прекратили поиски, жена Кара-дайы достала из сундука другую пару носков.

С парой новых носков Кара-дайы вышел на веранду. Сел на низкий табурет и задумался. Лучи солнца подняли ему настроение, и он улыбнулся. Земля продолжала с положенной скоростью крутиться вокруг Солнца, не забывая одновременно вращаться вокруг своей оси. Кара-дайы на каком-то витке начал надевать новые носки, но украденный носок не давал ему покоя. Еще через минут десять Кара-дайы догадался, что носок утащил шайтан, который спать ему не давал, которого позже он ночью выгнал с позором:

– Если тебе приглянулся мой заштопанный носок, забирай! Таких носков у меня полсундука! Лет на пятьдесят хватит, если будешь таскать по одному носку! Я сдаваться не собираюсь, так и знай!

\*\*\*

И снился Кара-дайы через неделю сон, после которого он навесил на сундук массивный замок, который висит и сегодня.

– Приснился мне сон паршивый, что и говорить. Рассказать – и то противно! Будь он проклят, этот шайтан, точно хотел довести меня до смерти, – позже рассказывал мне Кара-дайы свой сон, и было заметно, что он тогда порядком испугался. – Будто как-то, проснувшись утром, я подхожу к сундуку и вижу, что он пуст. Ни одного носка! А он, этот шайтан проклятый, сидит на полу рядом с сундуком и улыбается:

– Ну что, Кара, на пятьдесят лет, говорил, хватит у тебя носков?

– Думал, хватит, – тихо ответил я.

– Как видишь, не хватило!

– Да, вижу. Не хватило.

– Собирайся, Кара, пойдём, раз не хватило! Без носков тебе нечего делать на этом свете! Простудишься, – говорит и предательски смеется.

– Никуда я с тобой не пойду! Я куплю себе новые носки, – хочу возразить я.

– Поздно, Кара, поздно, собирайся!

А в это время, не поверишь, заходит в комнату жена, а в подоле фартука у нее полно носков. Как самосвал разгружает песок, так и она, высыпает носки в сундук и бурчит:

– Разбросал на всю веранду, чтоб он сдох, шайтан твой! За полчаса еле собрала.

А шайтан, как увидел, что носки собраны обратно в сундук, недовольно покрутил хвостом:

– Ничего, Кара, ничего, живи! Выручила тебя на этот раз жена! Благодарю ее и живи!

\*\*\*

С того дня, по словам Кара-дайы, шайтан исчез из его жизни. Исчез он и из жизни всех зогаллинцев. Сон этот он рассказывает часто, каждый раз особо подчёркивая, благодаря кому шайтан его оставил. Но чтобы поблагодарить жену, хоть единжды в жизни сказать ей «спасибо» – такого я от него не слышал.

Вот так и живут они, Кара-дайы и его жена, без теплых слов и благодарностей друг другу несколько десятков лет вместе. И с каждым годом всё больше и больше грызутся и кусают друг друга, но покидать этот бранный мир они пока не собираются. Иногда, видя, с каким необузданным гневом и неконтролируемой агрессией Кара-дайы атакует свою жену, и с какой интенсивной ненавистью защищается его жена, я почему-то начинаю думать, что помрут они не своей смертью, как полагается зогаллинским долгожителям, в постели и в окружении близких. Будет эта смерть у кого-то из них обязательно насильственной. Но не проходит и десяти минут после очередной их ссоры, они, будто сговорившись, возвращаются в исходное положение, наступает временное перемирие, они начинают общаться и продолжают жить. Общаются и живут, пока кто-то из них не нарушит этот хрупкий семейный мир.

А потом всё по кругу. И так несколько раз в день. И так больше семидесяти лет.

\*\*\*

Но, видит Аллах, если бы жена Кара-дайы в тот день вовремя не собрала носки, лежал бы, видимо, Кара-дайы сегодня в дубовой роще, в тени самого старого дуба, где покоится вся его родня «посохов». Мне почему-то кажется, что верховные правители после долгих совещаний всё-таки распределили бы его в рай, по прибытии в которой он первым делом взял бы за усы и перебросил бы Аллаверди-бабу через забор в ад, таким образом отомстив за непрошедшую за всю его длинную жизнь детскую обиду.



Куда-то вверх, куда-то ввысь  
мостят они себе дорогу.  
Неужто целью задались  
местами поменяться с Богом?..  
Клыками рвут живую плоть  
и утоляют кровью жажду.  
Как просто все перемолоть,  
под жернова пустив однажды...

...Я шел по улицам своим,  
не узнавая этот город.  
Он был угрюм.  
Он стал другим.  
Но и таким он был мне дорог...

### **Викинг**

В стране снегов, у края света,  
где слился с ветром птичий свист,  
где слава Одина воспета,  
жил очень старый пианист.

Играя Грига на рояле,  
рисуя музыкой прибор,  
вручив себя безбрежным далям,  
бесстрашный викинг принял бой.  
Терзая гладкие педали,  
как норд порывом –  
паруса,  
вплетал он в магию рояля  
богов суровых голоса.  
Назвавшись гордо капитаном,  
презрев и молнию, и гром,  
бросая вызов океанам,  
старик искал в аккордах шторм.  
Врезаясь килем в тьму морскую,  
под бесконечный склянок бой  
летел меж рифов бриг, рискуя  
найти в пучине свой покой.

И вот финал –  
разбиты мачты!  
На берег выброшен штурвал...  
Но не скорбите и не плачьте –  
ведь он еще не доиграл!..  
Скользя по клавишам устало,  
он успокаивал рояль...  
Морская гладь в лучах сверкала  
и тишиной манила вдаль...



## **Жене**

Я не буду петь про наши годы,  
да и ты тоску свою умерь.  
Я не плачу и не плакал сроду,  
закрывая за собою дверь.  
Все сложилось, как должно и было.  
Жизнь текла то с горки, то в подъем.  
Осень?.. Так себе...  
Поморосила...  
Даже и не скажешь, что дождем.  
Ну, да ладно с ней...  
Присядь, послушай,  
как звенит дрожащая струна.  
Я опять твою тревожу душу,  
самая послушная жена.  
Перестань травить меня настойкой  
собранной травы у «Черных скал».  
И займись шитьем своим и кройкой,  
я от процедур твоих устал.  
Дай поспать.  
Во сне увидеть лодку  
бороздящей вечный океан.  
А еще налей полнее водку  
в стограммовый «сталинский» стакан.  
Не волнуйся, мой услышав кашель.  
Не бывает в жизни без потерь.  
Я доволен всем, что было нашим,  
я уйду, но только не теперь.

## **Снайперы**

Мир уместился в прорези прицела.  
Как был он жалок, до смешного мал...  
Я, затаив дыхание, умело  
на спусковой без колебаний жал.  
Сведя на перекрестье дни и годы,  
приклад холодный подперев плечом,  
я целился.  
Я – снайпер от природы,  
на эшафот взошедший палачом.  
Всевышний, человека создавая,  
я знаю: ты не этого хотел...

Но это так –  
сегодня мы у края,  
и целый мир взят нами на прицел.  
В безумстве убиваем мы себя же,  
сжигая, отравляя все вокруг.  
И нам никто «Остановись!» не скажет,  
и камнем тонет брошенный нам круг.

На этот раз ковчег свой до вершины  
не доведет трудяга –

добрый Ной.

На дно утянет темная пучина,  
но даже там мы не найдем покой.  
Мы, в хаосе огня дотла сгорая,  
нашли, пожалуй, собственный предел.

...Я целил в этот мир,  
дойдя до края,  
а он меня разглядывал в прицел...

### *Последний менестрель*

На пражском Карловом мосту,  
где я бывал не раз,  
как старый воин на посту,  
грустинкой добрых глаз  
встречал гуляющих зевак  
усталый музыкант.  
Потертый джинсовый пиджак –  
эпохи прошлой фронт.  
А в шляпе пыльной ничего –  
одной монетки медь.  
И нет желанья у него  
кому-то песни петь.  
Висит печальная луна,  
вокруг суетный мир.  
Стакан дешевого вина  
и к хлебу горький сыр.  
Сегодня он не тронет струн –  
напрасно песен ждут.  
Да пусть хоть сто печальных лун  
на землю упадут.  
Лежит гитара в стороне,  
и топится талант,  
как сыр размоченный в вине,  
и пьян мой музыкант.  
Смотрите, где-то вдалеке,  
где тает лунный свет,  
плывет гитара по реке,  
за нею – шляпа вслед...

...С моста уходит музыкант,  
разбавив грустью хмель.  
Прощай, еще один Атлант,  
последний менестрель!

## **Желание**

На каком-то участке пути  
предложили чуток отдохнуть.  
Мол, нелегко и долог твой путь...  
Только я продолжаю идти.  
Я хотел бы ночами летать,  
как когда-то ребенком во сне,  
чтоб, баюкая, пела бы мне  
колыбельную нежная мать.  
А еще я хочу, чтоб войны  
больше не было в жизни моей,  
чтоб своих не терял я друзей  
и не чувствовал горькой вины  
в том, что где-то кого-то не смог,  
прикрывая собою, спасти.  
Не кричать с диким хрипом:  
– Прости!..  
Опоздал.  
    Не сумел.  
        Не сберег!..  
Согласись, ведь немного прошу:  
малость самую...  
каплю... чуть-чуть...  
Извини, если в чем-то грешу,  
но нелегко  
        и вправду мой путь!

---

## ГАЛИНА УДАЛЫХ

### ПОЭТИКА РАССКАЗА И.А.БУНИНА «БОЖЬЕ ДРЕВО»

*Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет, лишится радужного блеска и звездного сияния его одинокой страннической души.*

*М.Горький*

*После «Путешествия в Арзрум», после «Старосветских помещиков» нет в русской прозе памятника, который можно было бы с точки зрения стиля поставить наряду с «Божьим деревом». «Божье дерево» так же невозможно «истолковать», как любое стихотворение Пушкина. Здесь **что**, будучи отдельно от **как**, обращается в **ничто**.*

*П.М.Бицилли*

Творчество И.А.Бунина неотъемлемо от русского словесного искусства и национальной культуры. Огромный талант писателя критики уподобляли «матовому серебру», язык его называли «парчовым», а беспощадный психологический анализ – «ледяной бритвой».

Философская проблематика произведений И.Бунина, последнего русского классика и, как назвал его Максим Горький, «первейшего мастера современной литературы», неизменно вызывала у читателей глубокий интерес к вопросам добра и зла, памяти и забвения, жизни и смерти.

Эмигрантский период – это творчество зрелого Бунина, который сформировал свое, особое видение реальности, изображенной в его произведениях. В 1927-1930-м гг. И.А.Бунин написал ряд коротких рассказов («Свидание», «Подснежник», «Пингвины», «Молодость», всего 50 рассказов разного объема), которые вошли в сборник «Божье дерево» (Париж, 1931). В этих рассказах, размышляя о трагическом пути России и судьбах ее народа, Бунин представляет свое понимание души простого русского человека.

Современники высоко оценили эту книгу: рецензии на нее писали известные поэты, критики, философы (В.Ф.Ходасевич, П.М.Бицилли, Ф.А. Степун). Отклик П.М.Бицилли на «Божье дерево» Бунина (Числа. Париж, 1931, № 5), написанный вопреки всяким «нормам», – одна из вершин Бицилли-рецензента. Его статья начинается с описания художественных методов Леонардо да Винчи и Боттичелли, живописцев, по первому впечатлению, не имеющих никакого отношения к бунинской книге. Так, Боттичелли губку, напитанную краской, бросает на полотно и, глядя на цветное пятно, начинает «сочинять» из него картину. Леонардо же движется иным путем – не от «аналогии», но от изучения предмета. Те же два «метода» Бицилли видит и в литературе. Метод Боттичелли (все на все похоже) вспыхивает при таком рождении образов. Бунин идет путем Леонардо: вглядываясь в предмет, изучая его, а не «средства выражения». Как считает Бицилли, своим методом Бунин противостоит современным писателям (Набокову, Олеше, Белому, Цветаевой, Пастернаку), но зато роднится «с наиболее правдивыми русскими писателями, с Пушкиным, Толстым, Чеховым: честность, ненависть ко всякой фальши – как раз то, за что более всего достается Бунину». Именно побочный «живописный» сюжет в самом начале рецензии позволил сжать всю сумму высказанных идей (а в рецензии звучит и любопытное сопоставление Бунина с Тургеневым) в две страницы.

Другой эмигрантский критик, С. Литовцев, соотносил название сборника с «древом жизни» Гёте<sup>1</sup> и полагал, что в книге рассказов Бунина появилось нечто более ценное, чем художественное мастерство, – «дух внутренней тревоги», а также «сознательная попытка со стороны Бунина дать... страшно сжатый род рассказа».

Глубокий анализ рассказов в сборнике И.Бунина «Божье дерево» представил в своей обширной статье поэт Владислав Ходасевич. «Сохраняя бессюжетную основу, дает он изображение некоей картины, последовательный ряд образов, разрешаемых, как аккордом, одним коротким и резким психологическим жестом. При этом особенно характерно, что этот психологический жест Бунин чаще всего выражает не в действии, не в поступке, а лишь в словесной формуле, в замечании, в восклицании, то гармонирующем, то дисгармонирующем с только что изображенной картиной».

Многие исследователи считают, что по своей тонкости и четкости письма рассказы из сборника «Божье дерево» напоминают стихотворения в прозе И.С. Тургенева. «В них раскрывается та сторона бунинского дарования, которая влекла его к стиху», для них «характерно стремление к лирическому изображению действительности, к мелодичному звучанию речи». «Поздняя проза Бунина, – отмечает В.Н.Афанасьев, – как бы вобрала в себя его поэзию, вот почему в эмиграции он так редко выступал со стихами».

Бунин обновил жанр рассказа: упрощая событийный сюжет и лишая рассказ внешней занимательности, он уделял основное внимание мироощущению героев. «Бытовую повседневность писатель возводил до философского смысла, в буднях, в бытовых мелочах, в привычном способе мышления людей искал он разгадки многих трагедий».

Структурообразующими факторами становятся в рассказах из сборника ритмический рисунок и речевые детали: как точно подметил в своей рецензии В.Ходасевич, «на сей раз путь к бунинской философии лежит через бунинскую филологию – и только через нее...».

Название сборнику дал рассказ М.А.Бунина «Божье дерево», который был впервые опубликован в «Современных записках» (Париж, 1927, № 33). Рассказ небольшой по объему и состоит из ряда дневниковых записей, разворачиваясь как ретроспектива – воспоминание о 10 днях летней жизни господ в усадьбе. По мнению поэта Георгия Иванова, это скорее не рассказ, а «род деревенского дневника: несколько записей ни о чем». Вместе с тем он высказывает интересное суждение: «И с первой и до последней строки читаешь «Божье дерево» с тем волнением, с тем «холодком в сердце», какое дает только искусство самое строгое, самое чистое».

Отметим, что рассказ-дневник является одним из специфических жанров эмигрантской прозы Бунина. Он вел дневник всю свою жизнь, с юности и до последних дней жизни. В эмиграции дневник становится для него важной частью творческого процесса: происходит некий синтез дневниковой формы и формы новеллы. По мнению Бунина, «дневник – одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие...».

Повествование в рассказе «Божье дерево» ведет автор дневника. Это своеобразные зарисовки жанровых картин, впечатлений, ощущений. Бунин использует форму первого лица, тем самым показывая свою причастность к тем событиям и идеям, которые он здесь рассматривает. Повествование о настоящем организуется таким образом, что особенно остро звучат мотивы одиночества. В рассказе впервые образ крестьянина Бунин передает средствами прямой речи. Расширяется сфера функционирования диалога: он вводится в повествование не столько эксплицитно (в репликах героев), сколько имплицитно. Это подразумевает различные точки зрения героя и рассказчика: авторская позиция неявна, она скрыта в подтексте. Герой воплощает тот тип бунинского человека, который живет

<sup>1</sup> Во всем мире известными стали знаменитые слова Гёте из его «Фауста»: «Суха, мой друг, теория везде, Лишь древо жизни пышно зеленеет». В данной фразе превозносятся силы природы над человеческим разумом, содержится предостережение человеку: как бы он ни постигал природу и бытие, как бы ни пытался изменить ее, природа существовала до человека и будет существовать после него.

«живой жизнью», совершает поступки, доверяя своей интуиции. Для писателя важно было показать «власть» исторического прошлого: рассказ был написан в 1927 году, но в нем изображена дореволюционная действительность.

В рассказе запечатлен образ русского однодворца Якова Демидыча Нечаева – потомка служилых людей, которые несли дозорную и сторожевую службу на южных границах Российской империи в XVI-XVII вв. Это особое сословие было упразднено в 1886 году. Бунин вводит в рассказ название места, откуда родом герой: Козлов, Знаменская волость, сельцо Прилепы. Козлов, уездный город Тамбовской губернии, был основан по указу царя Михаила Федоровича (1635) как укрепленный пункт для обороны Рязани, а также ближайших земель от набегов крымских и ногайских татар. Название села Прилепы наталкивает на мысль, что оно находилось на пограничье оборонительного рубежа, как бы «прилепилось» к основным землям. По всей вероятности, было населено государственными крестьянами и казаками, некогда охранявшими эту территорию.

Уже во время знакомства с героем перед читателем предстает неординарный человек, по-своему воспринимающий окружающее. С упоминания о том, что Яков Демидыч – однодворец, Бунин начинает тему исторической памяти, которая объединяет поколения и становится той главной жизненной силой, что противостоит времени, пространству, смерти, одиночеству. Герой помнит о своем происхождении (по древности рода потомки служилых не уступали дворянам): «Ведь мы, однодворцы, в старые времена тоже, бают, господа были». Он держится с господами без подобострастия, с достоинством, которое не умаляется, даже когда он снимает перед ними шапку: «Бог лесу, и то не сравнял».

Прообразом героя послужил липецкий крестьянин, тоже караульщик-однодворец Яков Ефимыч. Рассказ во многом опирается на дневниковые записи писателя 1912 года: в нем совпадают как событийные моменты, так и диалоги. В.Н. Муромцева-Бунина вспоминала в 1912 году: «За лето мы подружились с караульщиками; записывали сказки, поговорки, особенно отличался один, Яков Ефимович, его Иван Алексеевич взял в герои «Божьего древа», удивительный был склад его речи, почти вся она была рифмована».

Сам И.А. Бунин оставил восторженную запись в дневнике 17 июня 1912 года: «Что за прелестный человек Яков, как приятно слушать его. Всем доволен». Посвятив в своем дневнике несколько зарисовок крестьянину, писатель на их основе создает самостоятельное произведение, отражающее многообразие русского характера. Однако Бунин впоследствии неоднократно заявлял, что этот образ выдуман. Так, в письме к П.М. Бицилли от 17 мая 1931 года писатель замечал: «...очень жалею, что не могу лично побеседовать с Вами о том, весьма интересном и для меня, что затронули Вы в этом письме в связи с языком моего Якова (фигуры, к стати сказать, все-таки вымышленной, собирательной, а не списанной с живого лица, имеющей только видимость такового)...»

Бунин поражает нас умением дать речевой портрет носителя языка. Писатель искусно вплетает в речь героя просторечную и диалектную лексику, вводит читателей в быт и миропонимание изображаемой среды, воспроизводя ее речевой стиль. Язык воспринимается как бы выхваченным из живой действительности и органически вписывается в канву рассказа. Автор не называет место действия, но можно предположить, что поместье находится в Орловской губернии, откуда родом писатель. Яков при знакомстве сообщает, что он из-под Козлова, т.е. с Тамбовщины.

Бунин проявляет прекрасное знание орловско-курского и тамбовско-рязанского диалекта: рассказчик сразу же отмечает, что говор Якова Демидыча отличается своими особенностями. Для тамбовского говора типичны процессы «аканья» и «яканья», и герой говорит: *таперь, жалаим, жана, чаво, сабе, жанили, лятала, вялит*. «Где ж ты бывала?/Где ж ты лятала?», «И чаво только нету там!», «Жанили рано...», «Тут как раз брата моего старшего убили, я и думаю сабе...» «Я ня жадный, я добродушный».

Бунин упивается звучащей речью Якова, всеми этими словами: «*постирушечья*», «*самоварчикья*», «*чугунчикья*», «*угошшали*», «*дожжок*», «*хунтик*», отмечает их грамматические особенности. Назовем окончания женского рода у существительных среднего рода



«...да эта *одна баловство*», «У нас в старину *село богатая* была...», отсутствие конечного -т у глаголов 3-го лица единственного и множественного числа: «А она, значит, *не жалае, не хоча*», «А она *не хоча/Да как захохоча!*», «Он как *вскоча...*», окончание -е в родительном падеже единственного числа у личных местоимений 1 и 2 лица: «Да вы ведь *мине* про то не спрашивали...», наличие постпозитивной частицы-то в разных частях речи: «Она беспрерывно опоздает, *машина-то*», «Она *протекать-то* как следует стало только нонче», «Кто ж ее *такую-то* опричь вдовца возьмет?». На эти грамматические отклонения обращает внимание рассказчик: «*Формы у него тоже свои: «Он неладно думал об мужиков», сказал он, например, про москвича*».

Повествователь улавливает, что Яков иногда «сбивается на обычный народный язык наших мест», для которого характерны черты русского литературного языка. Так, наряду со словом *бядя* он употребляет вариант *беда*: «Одна *беда* – детей много было»; «*Хто ж от нее откажется?*» – «А *кто ж их не любит?*»; «Вот скажем, *таперь* молотилки пошли» – «Да я и *теперь* не откажусь...» и др.

Известно, что, готовя рассказ к переизданию, Бунин тщательно сохранял говор героя и на полях специально отметил необходимость оставить «все неправильности» в речи. Передавая своеобразие речи своего героя, писатель «изображает не просто русского крестьянина, а орловского, воронежского, рязанского, так как ему необходимо это не только как наблюдателю, а для того, чтобы уловить то «земное, телесное, мгновенное», являющееся важным и основным в человеческой жизни и психике». Таким образом, рассказ о конкретном человеке обретает обобщенный характер.

И.А.Бунин восхищается народным русским языком героя – «говором старинным, косолапым, крупным», обращается к истокам русского языка, к его забытым или уходящим словам. По мысли писателя, Яков Демидыч – караульщик (охранник) не только сада, но и старинного русского языка: он употребляет в речи древние слова, например, *изну-гряться* вместо *издеваться*, *ухамить* вместо *урвать*, *варяжить* вместо *торговать* и др. Его герой тонко чувствует язык. Так, он использует слово *сидеть* вместо *караулить*: «А пока вот по садам *сижу*, а зиму хожу, во́лну бью по соседским дворам». Переносное значение слова *сидеть* перелетается в речи Якова с прямым его значением: он любит сидеть под деревьями, и сам ощущает себя частью этого сада.

Некоторые слова, которые использует Яков, непонятны местным жителям, например, *стременная* (рюмка). Яков объясняет значение этого слова, обращаясь интуитивно к его внутренней форме и опираясь на казачьи традиции: «Это значит, по самой последней, когда уж в стремя становиться, ко двору едешь».

В дневнике 1912 года писатель записал: «21 июня. Читаю «Былины Олонецкого края» Барсова. Какое сходство в языке с языком Якова! Та же криволапая ладность, уменьшительные имена...». Бунин благодарен герою за сохранение такого языка: «слушать его – большое удовольствие».

В лице Якова Демидыча он рисует образ необыкновенного рассказчика, который умел талантливо изображать своих героев, смешно копировать их движения. Писатель воспроизводит певучую речь героя, подробно передавая манеру рассказчика: «*Начал рассказ шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться, глаза, брови заиграли, быстро меняя выражение, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя по ляжкам, затопал лаптями, бросился, значит, бежать, – и согнулся, повалился вперед, хоча вместе с воображаемыми девками*».

В период эмиграции у Бунина острее проявилось «любование» отдельными выражениями русского языка, восхищение национальным своеобразием русского фольклора. Бунин «хотел удержать в памяти потомков то, что достойно воспоминания, что достойно сохраниться в веках».

Бунин обращает внимание на народный характер речи Якова Демидыча: тот пересыпает ее поговорками, пословицами, рассказывает сказки, поет песни. Бунин стремится

глубже понять самого героя – в его любви к народной устной культуре заложена глубокая философия жизни и смерти: «Когда будем помирать, тогда будем горевать», «Двум смертям не бывать, одним не миновать», «Стар пестрец, да уха сладка», «Авось, не первая волку зима» и др.

Бунин сам знал много присказок, пословиц, народных песен. В детстве он дружил с крестьянскими ребятами, от которых слышал много песен и рассказов, сохранив их в своей памяти. Интерес Бунина к фольклору, к «мужицким» песням и рассказам «продиктован потребностью проникнуть в самую душу народа, к жизни и судьбе которого писатель относится с глубокой тревогой, мучительным беспокойством».

Нередко фольклорный текст или упоминание о нем играют у Бунина роль звуковой детали, дополняющей пейзаж, создающей настроение, раскрывающей бытовую обстановку. Одна из эмоциональных доминант художественного мира Бунина – чувство одиночества – и в смысле одинокого существования, и одиночества вечного, как неизбежного и непреодолимого состояния человеческой души. Ощущение полного одиночества человека в мире передается в рассказе «Божье древо» в обращении к народной песне «Сова ль ты моя, совка». Эта песня – лейтмотив жизни и судьбы Якова Демидыча. В русском фольклоре сова/филин – таинственный и многогранный символ одиночества и тоски, безбрачия и вдовства, смерти и обиды. Птица ведет скрытную ночную жизнь, а ее голос напоминает человеческий крик или женский плач.

Сова олицетворяет собой одиночество Якова Демидыча: он живет свободной жизнью, не связан с семьей. Опыт семейной жизни героя поражает трагичностью: первая его жена умерла, вторая его бросила. Старший сын служит солдатом, второй – пьяница-сапожник, живущий сам по себе. С другой стороны, сова – это символ мудрости: по преданиям, она всегда сопровождала знахарей и волхвов. Думается, что неслучайно этой же песней заканчивается рассказ об одиноком человеке, обладающем сильной волей и любовью к жизни: это поэтическое обрамление, задающее основную интонацию и стилистику всего текста. Описание погоды – хмурой, дождливой – создает атмосферу сиротства и бесприютности, созвучной внутреннему состоянию героя.

Народную песню «Сова ль ты моя, совка» Бунин цитирует, безусловно, по памяти. Эта песня зафиксирована в Тенишевском архиве.

Бунин отмечал в свое время: «Ничто не определяет нас так, как род наших воспоминаний». Яков – странник по натуре, и это свойство исторического характера, связанное с памятью о Диком поле<sup>1</sup>: «А вот как выедешь за Елец, за Задонск прямо душа радуется, конца-краю этой степи не видать, до самого синя-моря идет, до Нагая. И чаво только нету там!».

Повествователь поразился тому, как Яков, не знавший настоящей любви, тоскующий по ней, поет вполголоса, нежно и жалобно романс «Мой стон и грусти люты...». Далее рассказчик узнает, что Якову известны и другие старинные романсы; слова некоторых из них принадлежат перу А. П. Сумарокова. Это подтверждает ранее высказанную мысль писателя о том, что «Яков Демидыч – деликатнейший человек, умница, натура тонкая, благородная».

Элегическое настроение создает описание атмосферы русской усадьбы; писатель поэтично передает красоту природы – цвет, звуки, настроение: «На припеке горячо и сладко пахли травы, цветы, крапива. В фруктовом саду, с блаженной беззаботностью, игриво и томно выводила свои флейтовые переливы иволга... Отчего так особенно прекрасно все старинное, старые березы, например? И я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, которая кажется мне всегда такой счастливой».

Один из критиков бунинского творчества утверждал: «И.А. Бунин дал деревенский очерк «старой» России. «Божье древо». Рассказ о караульщике Якове, стерегущем при усадьбе сад. Старое письмо... Странно читать эти вещи, словно повесть ведется о дале-

<sup>1</sup> Дикое поле, или Поле – историческое название степей южной Руси, Среднерусской, Приволжской возвышенностей и Донской равнины, некогда подвергавшихся набегам степных кочевников.

кой стране, о парках с видом в степь, о солнечных усадьбах... Кажется, что все это затонуло, и для нас, поврежденных, рассказы господ, смакующих мужика так, как его смаковал автор «Записок охотника», – старомодное, барское баловство...». Однако сам Бунин возражал против такого прочтения рассказа: «Я пишу о душе русского человека, при чем здесь старое, новое. Вероятно, и теперь какой-нибудь Яков Ефимыч трясет портками и говорит теми же присказками. А они: все это картины старой жизни, – да не в этом дело».

Писатель считал, что рассказ «Божье древо» написан о народе. В одном из писем к Ф.А.Степуну Бунин приводит перечень своих произведений, дает их характеристики, среди которых находим и следующее замечание: «13 октября 1952г. Понедельник. Роды моих сочинений О НАРОДЕ. NB. Божье древо. Подчеркнутое считаю наиболее ценным, NB – особенно».

Самая значительная по замыслу беседа автора с героем передана в последний перед отъездом господ день. Яков Демидыч размышляет об «обоюдности» русского народа, под которой он понимает разноречивость народного характера. Он возмущен злобствующим отцом, не жалеющим собственного ребенка («Можно разве так-то на свое дитя кричать?»), и в то же время с удовольствием говорит о пастухе, который радуется тому, что с помощью увеличительного стекла может добыть огонь, и это для него кажется чудным. Значит, одновременно русского человека можно осудить за неблагоприятные поступки, но можно и восхититься его простодушием. Герой рассказа так объясняет наличие в народе грубости и злости: «Только, конешно, нас учить надо!». По мысли Бунина, тогда «обоюдность» народная «будет более склоняться к торжеству праведников и подвижников».

Бунинские герои «по природе не философичны и не религиозны в глубоком смысле этого слова. Всякое знание о происходящем принадлежит не им, а самому миру, в который они заброшены и который играет ими через свои непостижимые для них законы». Яков у Бунина имеет свое собственное представление о Боге. С детских лет он усвоил истину о незыблемости миропорядка, данного Богом: «Нет, это вы глупо говорите. Это выходит, что и Бога нету? Кабы его не было, вся бы земля пропала». Герой рассказа «Божье древо» становится носителем идеи «приемлемости мира», ему «весело жить и не страшно умирать», ибо все имеет «какое-то высшее Божье намерение».

Бунин декларирует предстояние человека Богу как глубоко христианское чувство пребывания в мире, в котором человек испытывает не только ужас, покаяние, отчаяние, но, прежде всего, любовь и радость бытия. Якову свойственно балагурить, с легкой иронией, беззлобно посмеиваться над всем, в том числе над собой. Он всегда находится в веселом расположении духа: «сквозь словоохотливость Якова Демидыча проступает его добродушное лукавство и жизнелюбие». Неслучайно Яков знает и готов рассказать сказку Петра Ершова «Конек-горбунок» – поистине народную сказку, привлекающую внимание живой интонацией и неунывающим героем. Единственная тема, к которой жизнелюбивый Яков совершенно равнодушен, – это тема смерти. На этот счет у него своя «философия»: разговоры о смерти, которая все равно неизбежна и придет в свой срок, на его взгляд, ненужные и лишние. Он не хочет даже думать о ней, когда вокруг кипит милая сердцу жизнь. Смысл жизни он представляет себе предельно просто: «– Для чего ты на свете существуешь?... – А чтоб радость была!» – вот его ответ, то есть не в богатстве и удовольствиях. Для него главным является радость бытия: жить в ладу с миром, с собой, и людьми, наслаждаться красотой и необъятностью родных просторов, радоваться каждому дню.

Ф.А.Степун писал: «Божье древо» Бунина – один из самых пленительных и самых глубоких его рассказов. Яков Демидыч написан им совершенно изумительно. Если написать философский комментарий ко всем его разбросанным по рассказу словам и изречениям, то выйдет большой философский труд».

Исследователи считают, что понимание бунинской картины мира невозможно без учета авторского художественного мышления, связанного с его философским восприя-

тием действительности. Рассказ пронизан мифопоэтической символикой, и одним из символов в нем является огонь: по мысли автора, огонь символизирует ту самую «радость», в которой герой видит смысл своего бытия. Это огонь его жизни. Пока огонь горит, человек живет, работает, мыслит, верит. Как только погаснет огонь в душе, так и жизнь незачем. Этот тезис генетически восходит к убеждению язычников, что «...жизнь возможна была только до тех пор, пока горело это внутреннее пламя; погасло оно – и жизнь прекращалась». Повествование помещается в некую композиционную рамку: около костра встречает Яков рассказчика и к огню уходит, подпрыгивая и напевая песню о совушке-вдовушке.

Символическим является также название рассказа. Заголовок рассказа «Божье дерево» особенно важен для понимания его идейного смысла и художественной структуры, поскольку отражает основную мысль текста и его сюжетную линию. Исследователи отмечают, что у Бунина сюжет неизбежно бывает «приподнят» над житейским уровнем восприятия, и это следует уже из символики заглавия.

С одной стороны, здесь прослеживается ассоциативная связь с растением полынь, которое в народной ботанической номенклатуре известно под названием «божье дерево». Так обозначают древовидную, или лекарственную полынь. Видовое название восходит к греческому слову «abrotos», что означает «божественный», «бессмертный». Название «божье дерево» дано растению только в России и в славянских странах.

Слово «полынь» в русском языке обозначает эфирноносное растение с мелкими корзинками цветков, с сильным запахом и горьким вкусом. Полынь интерпретируется как растение, олицетворяющее горечь, и потому нередко носящее наименование «горькая полынь». На Руси полынь – символ печали, тоски, горечи и вдовства: «Не я полынь-траву садила, сама окаянная уродилась»; «Чужая жена лебедушка, а своя – полынь горькая».

В тексте рассказа «Божье дерево» слово полынь, входя в семантическое поле «Растения», через антропоморфную метафору служит объективации авторского смысла: автор видит в полыни «тоскующую душу», которой наделен главный герой. Кроме того, полынь воспринимается автором, как и в восточных языках: это символ родины и памяти, связующий прошлое с настоящим.

С другой стороны, заглавие рассказа отсылает нас к Библии. Дерево в мировой культуре и религии – это один из центральных символов. Как и другие «растительные» символы, он связан с плодородием, с жизнью, изобилием, является олицетворением жизни в разных ее аспектах и проявлениях. Основные символические формы, которые связаны с деревом, – мировое дерево, дерево познания и древо жизни. В числе символических трактовок образа дерева – вечное обновление и перерождение, плодородие и сакральность, бессмертие и реальность идеального мира. Так как корни дерева находятся в земле, а ветви его простираются к небесам, то оно, как и человек, является сущностью двух миров. В христианстве дерево является символом дарованной жизни, и прохождение его годового цикла свидетельствует о рождении, смерти и воскресении. Сквозь сложный ассоциативный план проступает реальность, в которой герой живет, действует и размышляет. История жизни Якова Демидыча обрамлена архетипическим образом «древа». Бунину удалось запечатлеть образ бесхитростного, доверчивого и доброго человека, который живет, «как бог вялит», как «божья дерево». Рассказчик отмечает: «Божье дерево – это очень неплохо сказано». Яков ощущает себя божьим деревом, что означает богоугодную жизнь, простоту, покойность души, жизнь в составе вечного организма божия. Для Бунина чрезвычайно ценна способность личности растворяться в мире, воспринимать себя частицей целого. «Эта черта сопряжения, возможности включить себя в некий целостный миропорядок восходит, по Бунину, к традициям национальной культуры».

Уподобление человека дереву имеет древние мифологические традиции и принадлежит к архетипическим элементам бессознательного. Эта связь находит свое отражение не только в мифологии и языке, но также в ритуале, фольклорных и литературных текстах. Возможно, сравнение героя рассказа с деревом имеет непосредственное отношение

к прецедентному тексту Библии: « И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет».

Показывая связь героя с природой, Бунин обращает внимание на любовь героя к саду вообще и к деревьям. Яков говорит: *«Я люблю по садам сидеть, люблю, когда ветвей много»*. Сад у Бунина не только место отдыха (для мещанина Богомолова) и работы (для Якова). Сад в изображении писателя наполнен райскими коннотациями; конкретная усадебная картина обретает символический подтекст благодаря архетипическому образу сада. *«Сад в древних традициях – это образ идеального мира, космического порядка и гармонии – потерянный и вновь обретенный рай. Для всех основных мировых культур сады представляют собой и зримое благословение Господне (Божественный Садовник), и способность самого человека достигнуть духовной гармонии, прощения и блаженства»*. Неслучайно Яков рассказывает сказку о Божьем человеке Алексее, который поселился в саду, где усердно молился и стал святым. В Эдемском саду растут древо жизни и древо познания добра и зла. В Притчах метафорически древо жизни сопоставляется с мудростью, Плодом праведности и кротким языком .

Человек в бунинском творчестве «как бы «произрастает» в мир, выходит из потока природного бытия и осознает себя его основной частицей, несущей в себе чувственную «память» о своем происхождении». «У Бунина ... – человек растворяется в природе, его человек, прежде всего, природный человек». Об этой особенности бунинских героев писал и Г.Адамович: «Это слияние, соединение, продолжение одного в другом... Человек у него представляет собой острое, а природа представляет собой основание одной и той же сущности».

Свойством поэтики бунинского рассказа становится «текучесть жизни»; значение «уходящих мгновений» в бунинском повествовании проступает в том, что они «взывают к жизни, прославляют полноценное наполнение каждого ее мига». Голосом повествователя автор передает свою боль от расставания с Россией, вновь переживает счастливые мгновения прошлого. «Бунин весь – плоть от плоти и кость от кости отошедшей России. С нею крепко-накрепко, неотделимо сращен как весь его душевно-духовный состав, так и вся стилистика его творчества». Яков Демидыч – как бы собирательный образ родины, которая видится Бунину с чужбины.

Бунин – «великий знаток «механизма» человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщающий им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям...», – писал о великом художнике слова А.Т. Твардовский.

После прочтения рассказа начинаешь понимать, почему Бунин озаглавил сборник «Божье древо». Через все рассказы он проводит мысль о том, что человек естественен во всех своих проявлениях и устраивает свою жизнь по человеческому и божественному праву. Бунин раскрывает русскую душу, показывает ее живой, способной к творчеству, духовному созиданию, восхищается неповторимым опытом народного видения жизни и смерти.

В рассказе «Божье древо» художественная интуиция писателя позволила увидеть, а талант – выразить в судьбе, душе, добром сердце Якова Демидыча лучшие стороны русского национального характера. Герой Бунина принимает жизнь как драгоценный дар, понимая и чувствуя её неповторимость. Читая Бунина, забываешь, что это – литература, потому что видишь, слышишь, осязаешь Жизнь.



## ЛЯМАН БАГИРОВА

### МИНИАТЮРЫ

#### «Сережки для Селии»

Он осторожно входит в комнату и кладет передо мной маленькую жестяную коробочку. Я открываю – нет, рву ногтями тугую крышку. Та не поддается, и я корчу плаксивую гримасу.

– Подожди, – он ласково гладит меня по голове и открывает коробочку. Там туго свернутая змейка нового диафильма. Как я люблю этот острый химический запах свежей киноленты – запах новых впечатлений и ярких путешествий в сказочные страны. В четыре года все страны сказочные, даже если они начинаются за дверью соседней комнаты.

– Фильм «Сережки для Селии». Будем смотреть?

Что за глупый вопрос? Естественно, будем! Я распахиваю глаза пошире. Это я умею – глаза у меня как два овальных колодца, наполненных влагой и мольбой: «Когда?»

– Ну, если мама разрешит, то сегодня вечером.

Мама разрешит. Это делается легко! Надо только ластиться к ней подольше, она немного поворчит для вида, что у ребенка режим и все такое, потом вздохнет, назовет нас «фантазерами» и улыбнется. И – швоб-ода-а!!! Кто вообще выдумал это слово – «режим»? Противное, как рыжая жаба!

Фантазеры – это мы с папой. Мама не разделяет наших пристрастий, но смотрит на нас снисходительно, как на неугомонных котят. Ах, мама, если бы ты знала, какое это чудо, когда в маленькой комнате выключается свет и на гладкой белой двери появляется надпись: «Диафильм». Уже от одного вида затейливо изогнутой буквы «Д» сладко замирает сердце.

Читает папа. Я сижу на большом столе, ибо со стула задирать голову больно, и от нетерпения покусываю завязки своей шапки. Ненавистная мохнатая шапка с длинными завязками, словно заячьи уши – необходимая уступка маме. Она боится, что в угловой комнате вечно холодно, и я опять простужусь. Но что такое шапка, если есть новый диафильм! Нам на шапку плевать с высокой колокольни!

– «Сережки для Селии», – звонким, почти мальчишеским голосом произносит папа. И я, затаив дыхание, слушаю бесхитростную историю о простой кубинской женщине и ее детях, о том, как ее четырехлетняя дочка Селия мечтала о сережках, и что из этого вышло.

В финальном кадре я вижу улыбающееся личико Селии, крохотные сережки в ее руках и машинально трогаю себя за уши. В них с недавних пор мерцают маленьенькие сережки, что наполняет меня чувством гордости. Взрослая! Ни одно мамино украшение или туфли на каблуках не притягивают меня так, как серьги. Серьги – апофеоз женственности; только на них язираю с восхищением и любовью, только на их колыхание отзывается мое сердце.

– А у меня – тоже как у Селии? Да? – тереблю я папу за рукав. – А ей тоже четыре года? Как мне?

– Да, – отвечает он. – Но вот видишь, они были бедными, мама продавала кофе на базаре, а потом попала под машину, сломала ногу. А люди, под чью машину она попала, дали ей денег и она купила своей доченьке сережки.



Этот факт почему-то напрочь отсекается моим счастливым сознанием. Я, как и Селия, радуюсь сережкам. А ведь и правда: у женщины на кадре нога забинтована и у ее сына глаза грустные.

– Я, я, – из груди моей вырывается порывистый писк, – я бы ей дала... свои сережки! Пусть ее мама будет здоровой.

Папа молча гладит меня по голове. Фильм заканчивается.

– Что так быстро? – спрашивает мама. – Вы же обычно по три диафильма смотрите.

– Завтра посмотрим, – чуть глуховатым голосом говорит папа. Затем поднимает меня на руки и целует: – Ну, иди спать, детка. Спокойной ночи.

\*\*\*

– Иди отдыхать, детка, устала уже, – надтреснутым старческим голосом говорит мне папа. Потом спохватывается, словно вспомнив что-то, и улыбается.

– Что ты, папа?

– Ты маленькой без диафильмов никогда не засыпала. Сколько я тебе их читал! А мама – светлая ей память – ворчала, что я тебе режим нарушаю...

Он умолкает, думает о чем-то.

– А проектор я потом тебе принес, чтобы ты дочке мультики показывала.

– Он и сейчас у меня. И диафильмы тоже. Храню на память.

– Твой любимый «Сережки для Селии» помнишь? – и, опять улыбнувшись, гладит дрожащей рукой меня по голове...

...Помню, папа, все помню. Спасибо тебе, дорогой. Живи долго.

## **Хранители**

– А это что? – спрашивает дочь, доставая очередную открытку. Я высвобождаю руку из под ее головы, ноги и руки (удивительным талантом обладает мое дитя: улечься так, чтобы одновременно разместить у меня на коленях почти все части своего тела) и вглядываюсь.

– Рогир ван дер Вейден, «Портрет дамы» Нравится?

– Какая серьезная. И без косметики, и лицо прикрыто.

– Так было принято. Порядочные замужние дамы и девицы одевались скромно, глаза держали долу.

Дочери нравится последнее слово. Она хихикает и убегает, на ходу придумывая под него рифмы. Долю – полу, – не пойду в школу, – отдыхать впору. Я продолжаю смотреть на складки тяжелой средневековой одежды, на скрещенные тонкие пальцы, на бледное открытое лицо с гладко забранными назад волосами.

Вглядываюсь... Всколыхнитесь, волны памяти, я иду к вам!

Коричневая лакированная тумбочка в родительской спальне. Предмет моих вожделенных мечтаний. Ее темное нутро таит в себе сокровища Голконды. Так, во всяком случае, мне кажется. Но – увы и ах! – мне строго запрещено открывать ее без спросу, потому что там ред-ки-е реп-ро-дук-ции и-зо-бра-зи-тель-ного ис-кус-ства! Фу! Выговорила! Но нельзя – так нельзя. Надо дожидаться вечера.

Зимний день короток. И вот уже по полу тянутся сумеречные сиреневые лучи. Скоро придут родители и скажут, что я у них умница, красавица и молодец. Конечно – молодец: весь день не шалила, никуда без спросу не лазила, поела, вымыла за собой посуду и читала сказки, смиренно сидя в кресле. Мечта, а не пятилетний ребенок.

А награда вечером. Мама сядет рядом, укроет клетчатым пледом, включит маленький электрический камин и откроет сокровища Голконды – аккуратную большую стопку больших и маленьких открыток и альбомов. От них тянется аромат – старинный, изысканный, потому что хранятся открытки в больших бархатных коробках от бабушкиных духов.

– Вот это «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Посмотри, какое грандиозное полотно, какие краски.

Электрический камин с бутафорскими угольками бросает красные тени на открытку, и зарево помпейского пожара полыхает еще сильнее.

– А это его брат Александр Брюллов. Портрет Натальи Николаевны Пушкиной. О том, что это жена любимого поэта, я уже знаю. И вздыхаю ревниво:

– Красивая.

– Еще бы, – улыбается мама. – Первая красавица при дворе. А посмотри, какое платье, какие серьги.

Но, черт побери, я – женщина или нет?! Чтобы при мне, да красоту другой нахваливали?! Пусть она трижды мадонна! Ну, уж нет!

– А это? – нетерпеливо вынимаю я из стопки следующую открытку.

– «Шоколадница» Лиотара.

Ничего не пойму. Где шоколад? На картине какая-то пухленькая девица с чашкой на подносе.

– Раньше шоколадом называлось какао, – терпеливо объясняет мама. – И его не ели, а пили, и подавали в тонких фарфоровых чашечках.

Ничего себе! Глупые люди! Разве шоколад можно пить? Его надо есть: медленно, отламывая по кусочку, ощущая маслянистую хрупкость, и – смакуя, смакуя, смакуя! Или, мгновенно запихав в рот всю плитку, упиваться тягучим горьковатым вкусом.

– А это?

– «Портрет дамы» Рогира ван дер Вейдена.

– Какая некрасивая и злая!

– Почему? Посмотри, какая четкость линий, какое изящество и тонкие цвета. Бледная, потому что так считалось красивым, большой открытый лоб – тоже красиво и по моде того времени. А какие нежные губы, как полуопущены глаза, как сложены руки. Она спокойна и думает о чем-то.

– О чем?

– Наверно, о своих детках, о доме. Думает, вот художник нарисует мой портрет, и я пойду домой, накрою на стол, детки мои обрадуются, потому что будет пирог с румяной корочкой.

– А сколько у нее детей? Ну, сколько?

– Четверо, – мгновенно выпаливает мама. И я так же мгновенно верю в это: именно четверо, не меньше, и все они ждут маму и горячего сладкого пирога.

– А шоколад они будут пить? – мне нужны детали для полной картины семейной идиллии. – А над столом будет лампа с абажуром? А папа тоже будет? А какого цвета у них чашки, а скатерть?

– Будет, все будет! И синяя скатерть и белые чашки. Да угомонись ты немного!

Но я уже прищипила Пегаса своей фантазии! Мне необходимо знать, какого цвета стены в доме женщины, какие полки и мебель, во что одевается ее служанка (у всех богатых есть служанки!) и с какой корзиной она ходит на рынок. И вообще, красивый ли у них город?!

Мама терпеливо рассказывает мне это. Игра увлекает ее, и вот уже два Пегаса – мой и мамин – скачут по бескрайним дорогам фантазии. Из маленькой открытки «Портрет дамы» нидерландского средневекового художника за считанные минуты родилась целая история.

Камин бросает красные задумчивые блики на мамино лицо. Я сворачиваюсь у нее на коленях и засыпаю. Она осторожно высвобождает одну руку и гладит меня по голове...

Расступитесь, волны памяти: в стране воспоминаний нельзя гостить долго...

Белые ангелы детства, хранящие мою душу, не покидайте меня: мама, камин с красными угольками, коричневая тумбочка с сокровищами Голконды – вы так далеко от меня и так близко. Вы – мое богатство, которое я передам своей дочери вместе с затертой репродукцией «Портрета дамы». Сохраните ей воспоминания, соткните память, сберегите душу, чтобы не прервалась ниточка уюта и добра в нашей жизни.

## **Чего только женщины не придумают!**

Мужчины обычно невысокого мнения о женском уме. Ну да Бог с ними. Все равно, чтобы женщина ни сказала, какие бы доводы ни привела, они будут уверены в своем превосходстве. Даже если им привести в пример Марию Кюри, единственного по сей день дважды лауреата Нобелевской премии – женщину и, между прочим, блондинку! Нет, даже она для них не аргумент. Может быть пожмут снисходительно плечами и обронят что-то вроде: «Исключение лишь подтверждает правило».

Но вот одно – точно! Женщина фору даст любому мужику по части изобретательности. Особенно когда она борется за мужчину! Тут уже ... A la guerre comme a la guerre – все средства хороши!

История, которая давно уже стала семейной легендой и передается из поколения в поколение, случилось давно, в первые послевоенные годы. Страна только восстанавливалась, но люди были сплоченные. Иначе было не справиться, не выжить.

Один из моих родственников вернулся домой не просто воином-победителем, а человеком неслыханного везения. Пройти всю войну с первого и до последнего дня, взять несколько городов, включая Берлин (но самым памятным было освобождение Кенигсберга), несколько раз ходить за линию фронта и все это в прямом смысле без единой царапины (словно заговоренный был – ничего не брало!) – нечто из ряда вон выходящее. Помимо ореола воина-победителя прибавился еще и ореол баловня судьбы. Неудивительно, что многие относились к нему чуть ли не с молитвенным трепетом. Но женщины, особенно молодые вдовы, нередко заглядывались на него совсем по-другому. И люто завидовали его жене. Как же – при муже, да еще не увечном, молодом, сильном! А еще через какое-то время в семье появились детки – сын и дочь.

Когда молодая семья выходила на прогулку – это было зрелище, достойное пера Некрасова, описывающего шествие крестьянского семейства к обедне в поэме «Мороз Красный Нос»:

*Идет эта баба к обедне  
Пред всею семьей впереди:  
Сидит, как на стуле, двухлетний  
Ребенок у ней на груди,  
Рядком шестилетнего сына  
Нарядная матка ведет...*

Конечно, ни к какой обедне они не шли, но шествие стройного, ловкого офицера, красивой молодой женщины и двух симпатичных деток вызывало неоднозначные эмоции. Кто-то, особенно пожилые люди, искренне радовались, вытирали набежавшие слезы и благословляли процессию. Кто-то же закусывал губы и вздыхал... Впрочем, об этом поподробнее!

В начале 1949 года семье дали квартиру на четвертом этаже нового дома. Не велики хоромы – одна комнатуха в 9 квадратных метров, но после полуподвального сырого помещения, где они ютились с детьми и где до ближайшей бани надо было топать несколько километров, эта квартирка показалась им раем. Все было прекрасно, если бы не соседка со второго этажа.

Это была молодая, миловидная, но необъятно грузная женщина. Вес добавлял ей возраста, и при своих двадцати восьми она казалась старше лет на 15, а может, и больше. Муж ее погиб на войне, детей не было, зарабатывала она на жизнь шитьем и вязанием – обшивала и обвязывала всех знакомых.

Но работа работой, вдовство вдовством, а с природой и жизнью бороться трудно. И любить хочется, и быть любимой, и детей родить и вырастить. Да только где мужа взять, если после войны остались одни подростки, старики, да увечные. А единственный нормальный мужчина на всю округу, как на грех, женат, и жена его милая женщина, добрая соседка и к тому же (что немаловажно!) – хороший врач. Грамотных специалистов походи поищи, а тут тебе соседка, если что понадобится, и помощь окажет, и лекарства выпишет, и укол сделает. Рушить дружбу с такой не годится. Да и уводить мужчину из семьи тоже нехорошо. И не собирается она этого делать. А вот если бы он как-то сам зашел к ней вечерком на огонек, разделил бы ее тоску и одиночество... Тут у женщины глаза заволакивались влажной истомой... Нет, в конце концов, почему одной все, а ей – ничего?! Где же справедливость? Да и нет тут никакого греха по мусульманским понятиям.

Вот здесь стоит прерваться и пояснить. Дело в том, что по мусульманским законам мужчина действительно может иметь до четырех законных жен при условии, если он сможет оказывать одинаковое внимание всем. Конечно, такую роскошь могли позволить себе только очень состоятельные люди – шахи, ханы, беки. Жены – народ требовательный! Поэтому в основном ограничивались одной женой.

Но существовало еще и такое понятие как «временные» жены. Их могло быть много, больше, чем четыре, но такие жены, вместе с их потомством, не могли претендовать на имущество или титул мужчины. Временный брак заключался духовным лицом – муллой. Тот читал соответствующую молитву и выдавал на руки брачующимся бумагу, в которой указывалось, что такой-то женится на такой-то на определенное время. Делалось это с целью предотвратить разврат! Дабы мужчина, пребывающий по каким-то своим делам вдаль от семьи (мало ли – по торговле, или по контракту куда-то судьба забросила!), не томился в одиночестве и не искал утешения у девушки с пониженной социальной ответственностью, а приобрел бы хоть временную, но, тем не менее, уютную семейную обстановку. А для женщины такая бумага гарантировала почтительное отношение окружающих. Хоть временная, но все-таки жена. Это статус. Это соответствует нормам приличия. Да, потом мужчина мог вернуться к своей настоящей семье и больше никогда не встретиться ни с самой временной женой, ни с детьми от нее, но никто не имел права бросить обидное слово вслед женщине, ибо ее сожителство было оформлено по закону.

Кроме того, такая форма брака в старину была своеобразным спасением для женщин, оставшихся вдовами или старыми девами. Проще говоря – мужчины гибли, как мухи, на бесчисленных войнах, охотах, в опасных путешествиях, женщины оставались одни. И чтобы не сворачивали горемыки на скользкую дорожку разврата, в мусульманском законодательстве была закреплена форма временного брака – сикге.

Но вернемся к нашей горячей вдовушке. Уж она и так, и эдак обхаживала молодого офицера, и томные взгляды, и вздохи ему посылала, и будто бы нечаянно пухлым плечиком задевала, но все без толку! Офицер оказался примерным семьянином, очень любящим свою красавицу-жену.

Совсем уже отчаялась соседка, как вдруг на горизонте любовных томлений совершенно случайно забрезжила надежда. И произошло это так.

Подхватила как-то вдовушка воспаление легких и назначили ей лекари целый курс инъекций. Чтобы не ходить в поликлинику, попросила жену вожделенного соседа сделать уколы. Медик все-таки! Та согласилась, делов-то – спуститься с четвертого этажа на второй.

И вот добрая половина курса уже проделана, лечение близится к концу, как на очередном уколе игла ломается, и кончик ее застревает в безбрежной, мягчайшей филейной части пациентки!

Молодая врач испугалась и побледнела. В ее практике такое было впервые. Она испугалась так, что у нее затряслись руки. И ничего лучше не придумала, как заполошно закричать:

– Тимур!!!

Воин-освободитель, офицер, разведчик и примерный семьянин Тимур в этот мирный воскресный день просто спал на диване, как вдруг до его ушей донесся вопль супруги.

Он еще не понял, что случилось, он еще не успел продрать глаза, но ясно уловил интонацию крика. В интонации четко звучало: SOS!!!

Этого было более, чем достаточно. Был уловлен сигнал о бедствии, и этот сигнал подала его красавица-жена.

Тимур за секунды оделся и кубарем скатился с четвертого этажа на второй.

Представшее перед ним зрелище вдохновения не вызывало. Впрочем, и особого негатива тоже. Насмерть перепуганная жена трясется и указывает ему на некую темную точку среди двух белоснежных холмов.

Тем временем страдальца-вдовушка кричит, охает и пытается повернуть голову, чтобы понять, в чем дело.

Тимур мгновенно проявил хладнокровие и военную смекалку. С первой же попытки ухватил застрявший кончик сломанной иглы и извлек его наружу.

Из глаз жены брызнули слезы, она бросилась обнимать спасителя. Соседке тоже хотелось это сделать, но вначале надо было привести себя в приличный вид. Пока она мешкала, Тимур с обычной невозмутимостью бросил жене: «Я поднимаюсь домой» и ушел.

Место неудачной инъекции было тщательно обработано йодом, пережитое волнение соседки запили чаем с конфетами-подушечками – нехитрым угощением первых послевоенных лет.

На этом история могла бы закончиться, если бы не...

Но предоставим слово самому Тимур, когда он, уже будучи бодрым и энергичным старичком, вспоминал эту историю, благодушно кивая на свою благоверную:

– Эта ваша бабушка, – притворно охал он, – еще тот кадр! В молодости меня чуть с праведного пути не свернула! Это надо же – ничего лучшего не придумала, как звать мужа, чтобы он извлек иголку из ... – тут Тимур делал глубокий вздох, – из тела чужой женщины.

– А что мне было делать? – недовольно ворчала благоверная. – Я так растерялась, что у меня руки тряслись, слова не могла сказать.

– И что, и что? – покатывались со смеху многочисленные внуки и племянники. – Что было дальше?

– Ну, что было дальше? – спокойно подытоживал Тимур. – Оказал помощь человеку в сложной ситуации. А потом сложные ситуации стала создавать она мне. Проходу не давала! Говорила, теперь ты как мусульманин обязан на мне жениться, раз видел мое тело. Идем к мулле, пусть оформит временный брак. Ты разве не знаешь, что тело мусульманки может видеть только муж, и никто другой?!

И так по нескольку раз в день приставала: «Сними грех с моей души, пойдем к мулле». Но я был крепок, никуда не пошел, я был верен вашей бабушке, а она этого

не ценит! Вместо того, чтобы на руках носить, ворчит и кричит. А та женщина, бедная, как она плакала, когда мы получили новую квартиру и съехали. Так и смотрела мне вслед... Эх, так и оставил я ее с тяжестью на сердце.

– Я бы сказала, что у нее было на сердце, – продолжала ворчать жена. – Жаль, при детях неудобно. И чего только женщины не изобретут, чтобы мужчину заполнить! На все пойдут, из всего извернутся!

– Да, дорогая, – смиренно поддакивал Тимур и в выцветших глазах его загорался озорной огонек. – Истинная правда. Чего только женщины не придумают!..

## РАССКАЗЫ

### **Волк**

Не писалось. Промучившись часа три за компом, злой, как черт, Назаров вспотел и отчетливо понял, что сегодня ему не родить ни строчки. Пот был едким и соленым, но вместе с ним пришло счастливое озарение: «Не пишется, да и фиг с ним!» И сразу стало легко, захотелось выйти на улицу, вдохнуть ноябрьский воздух и съесть чего-нибудь. Удивительно, как люди способны усложнять себе жизнь. Нет, прав тот, кто сказал: «Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». Назаров так и сделал, соорудил себе огромный бутерброд с колбасой и вышел из дома.

Он, плодовитый литературный критик, давно уже мог сменить место жительства, переехать в новостройку или хотя бы вторичку. И жена, и, особенно, теща слезливо намекали ему на это – «дети растут, им отдельная комната понадобится, да и в кухне не развернуться, ну что это такое?!», но Назаров с идиотическим упорством оставался верен родительскому дому в старом итальянском дворе-колодце, где двери десяти квартир выходили на один общий балкон с крутой лестницей. Во дворе всегда стояла вонючая духота от сохнувшего белья, котов и разнообразного соседского вара, но Назаров любил свой двор. В нем ему была знакома каждая выщербленная дверь, каждый камень был ему родным. И чем старше становился критик, тем больше было это родство, словно мир сужался до размеров колодца, но приобретал и колодезную глубину, и глубина эта падала в сердце...

Вопреки общеизвестному мнению, что критик всегда задним умом крепок, Назаров был творцом. Его статьи иной раз превосходили сам материал разбора, так что незадачливый автор пьесы или прозы поражался: «А, черт побери, неужели я так глубоко мыслил? И как только критик это узрел? Что значит профессионал!» и, благодарный, рассказывал собратям по перу, что не перевелись-де еще настоящие ценители прекрасного. Собратья, особенно те, которым не повезло с критиками, угрюмо молчали.

Но в этот раз или луна была на ущербе, или звезды не сошлись, или старый тутовник отбрасывал тень как-то криво, но не получалась статья о психологизме современной прозы на примере рассказов молодых авторов. И обиднее всего было то, что никто не мешал: жена с детьми гостила у своей матери, и Назаров был рад этому. Он любил семью вдумчивой спокойной любовью, ему нравилось наблюдать, как растут дочери, как хлопочет на маленькой кухне жена – от всего ее облика веяло миловидностью и уютом. Но сейчас он был рад одиночеству: любовь и ласка нуждаются во взаимности, а творчеству нужна отрешенность. И все шло, как по маслу: и маячил хороший гонорар, и экран монитора светился призывно, и готовый к печати сборник рассказов лежал на столе, и к развитию сюжетов не придерешься, а... пустота! Ни уму, ни сердцу: Алик З. любит свою невесту Симу К. Она его тоже любит, но подспудно симпатизирует Руслану М. И пока свадьба по каким-то причинам откладывается (то не все приданое собрали, то кто-то из родственников нехотит к праотцам



отправился), Руслан М. как-то ненавязчиво завладевает сердцем Симы К. В общем, в стане женихов маленькая перестановка, но от перемены слагаемых сумма не меняется. Все слагаемые слагаются, как положено, свадьба играется, бывший жених благородно произносит тост за счастье молодых и, дабы излечить раненое сердце, уезжает поступать в заграничный вуз. Во втором рассказе пожилой гулена-муж наконец-то возвращается к своей старой верной жене, и та, проронив для приличия несколько горьких слез, принимает блудного Одиссея в объятия и ни разу не попрекает его своим вынужденным пенелопством. Вокруг бродят смущенные взрослые дети, взволнованный Одиссей вытирает покрасневшие глаза и возносит хвалу Господу за возвращение в лоно семьи. И остальные рассказы в том же елейно-назидательном духе. Назаров, как ни бился, не знал, к чему подступиться. А психологизм – маленький, подленький психологизм, – был в том, что критик уж больно хорошо знал авторов этих рассказов, был с ними в приятельских отношениях и сейчас раздирался между нежеланием обидеть авторов и желанием разнести их опусы в пух и прах.

Двор дохнул неряшливостью: воздух и небо будто провисли длинной серой слюной, все было влажным и неприятно липким на ощупь, почерневшие тутовые листья валялись тут и там, и все же в замкнутом пространстве двора было больше уюта, чем в теплом доме. Облысевший тутовник кряхтел, поскрипывая, кривая его тень дрожала. Назаров с аппетитом откусил от бутерброда и задумался...

Тутовник давно собирались спилить, каждую весну толстый Фазиль торжественно ударял себя в грудь и клялся всеми своими родственниками – живыми и мертвыми – что он будет не он, если не спилит эту кривую высохшую деревяшку, которая и ягод уже давно не несла, а в последние годы стала угрожающе валиться на бок. Ему вторила добрая половина соседей: мол, де и машинам въезд загораживает, и пройти нормально невозможно, и детям играть мешает, а упадет, так придавит кого-нибудь. И всякий раз торжественные клятвы так и оставались клятвами. Тутовник кренился все больше, но так же победно торчал посередине двора. И всякий раз, бросая взгляд на уродливое дерево, кто-то из соседей задумчиво ронял: «Надо же, дух Везира как охраняет, не дает спилить...»

Лет сорок назад Везир-Волк был грозой всей округи. Огромный, смуглый до черноты, обросший жесткой седой бородой, он наводил ужас одним своим видом. Назаров даже сейчас поежился, вспомнив, как Везир отгонял их, мальчишек, от усыпанных алыми ягодами веток. И никаких ласковых старческих увещеваний, типа: «Не трогайте, детки, животы заболят, тут еще неспелый, почернеет, так и лакомьесь на здоровье» – не было и в помине. Напротив, была вздернутая к небу рука с огромной суковатой палкой, круглые, налитые яростью глаза и хищно подрагивающие усы под вислым носом.

Его побаивались даже почтенные отцы семейств – Везир знал их еще голопузыми и тоже жаждущими тутовых ягод. Тщетно! Старик охранял неприкосновенность дерева, как не всякая девица блюдет свою честь. И только когда почерневшие, истекающие соком ягоды начинали грузно шмякаться на землю, Везир делал знак здоровой рукой – вторая висела плетью, и женщины двора гурьбой кидались собирать их, осторожно трусили ветки в разостланные под деревом старые простыни. Везир и тут не успокаивался, придирчиво вглядываясь, не обломали ли какую-то ветку, не повредили ли ствол.

Волком его прозвали за нелюдимость, молчаливость и каменную уверенность в своих поступках. Говорили, что он каким-то чудом выжил в сталинской молотилке и даже не угодил в лагерь, но в тюрьме ему перебили руку так, что потом она спрслась неправильно. Что дети и жена его в войну погибли, а сам он, попав в окружение, просидел двое суток в сугробе. Смог выбраться и даже привел «языка», но отморозил себе все, что можно, и потому жениться во второй раз не смог и так и доживал свой век в маленькой комнатушке с забраным решеткой окном, и лицо его со

временем стало похоже на эту решетку. Но человеку нужно быть привязанным к чему-то, и Везир посадил саженец тутового дерева, возился с ним, как с младенцем, поливал, рыхлил почву, охранял и от ветра, и от мальчишек, и от котов – все они могли надломить слабенький росток. Деревце оказалось благодарным – быстро пошло в рост, покрылось аккуратной густой листвой и на пятый год принесло первые плоды. И Волк превратился в цербера! Горе тому, кто хотя бы ненароком тянулся к созревающим ягодам, откуда-то из под земли вырастала грозная фигура с хищно подрагивающими усами и точный удар палки-судьбы опускался на руку бедолаги. Так и жили – двор сам по себе, а Везир с деревом – сам по себе, и никого старик не впускал в свою жизнь и ни от кого не принимал даже крохотного угощения, сам себе стряпал, да раз в неделю приходила пожилая молчаливая женщина, видно, какая-то родственница, прибирала в комнате, забирала узелок с грязным бельем и исчезала. Все попытки наладить с ней контакт были безуспешны, и даже пронирыльные кумушки-соседки приуныли – женщина оказалась твердой, как кремь, и односложно отвечала на любые вопросы. Для южного темперамента это было нетипично, и двор вынес негласный вердикт: «Волк, и род его волчий, лучше не трогать, пусть сидит под своим деревом» И Везира не трогали, и он, уперевшись в палку, сидел целыми днями, пока позволяла погода, под деревом и смотрел прямо перед собой.

Трогать, конечно, не трогали, кто ж решится, да и недостойно было бы задирать старика, во дворе ходили чуть ли не по струночке, но вот за его пределами отводили душу и давали волю языкам! Особенно кривлялся Самир-Иемишбаш (дынноголовый) – долговязый вертлявый пацан с вытянутой формой черепа. То насупит брови, то вытянет губы и коснется ими кончика носа, то примется вращать глазами, то схватит палку и начнет трясти ею над головой, что-то бормоча при этом, в общем, бесплатный цирк. И одну руку всегда привязывал к телу, чтобы добиться полного сходства со стариком. Назаров смеялся вместе со всеми, но на дне души тяжело трепыхался стыд – ну, неправильно это, не должно быть так. Да пусть от Везира не то, что доброго слова, но даже взгляда не дождешься, пусть двор при его появлении вымирает, пусть тысячу раз будет волком, но ведь не шакал же! Но Самир изображал его так артистично, ребята покатывались со смеху, и Назаров тоже смеялся, чтобы быть своим среди них.

Скорее всего, Везир догадывался о геройствах Самира в соседнем дворе, потому что иногда останавливался на нем взгляд, полный иронии и скрытой издевки.

А потом случилось такое, после чего Везира вообще называли зверем. Впрочем, ненадолго и всего лишь два человека. И было это так.

На исходе 1978-года во дворе появились новые соседи, переехали в квартирку умершей соседки. Новому жильцу – главе маленькой семьи – умершая приходилась бабушкой, до этого семья снимала квартиру где-то на окраине города, а сейчас решили переехать. Хоть и старый дом, и общий двор-колодец, но все же собственное жилье, к тому же в центре. Бабку они навещали по праздникам, не засиживаясь надолго, и соседи любили наблюдать, как из обшарпанной двери выходит молодая нарядная пара с двухлетним малышом на руках, неспеша проходит через двор и садится в машину. Везир не обращал на них внимания, но на то он и Волк.

Когда они переехали в освободившуюся квартирку, мальчику было чуть меньше семи лет. И все сразу поняли – переехали ненадолго. Глава семейства целыми днями вел какие-то переговоры с незнакомыми людьми, те осматривали квартиру, цокали языками, вздыхали, уходили. На смену им являлись другие, осматривали двор, проверяли на прочность перила общего балкона, вглядывались в переплеты соседских окон. Супруга главы семейства не принимала в переговорах участия, не работала, и почти не выходила из дому. Иногда из их окон долетали приглушенные разговоры: женщина жаловалась, что не может жить в такой дыре, а муж успокаивал, что как только подвернется выгодный вариант, они сейчас же съедут.

Но вот сынок их целыми днями вертелся во дворе и особой приязни не вызывал ни у детей, ни у взрослых. Маленький, носатый, как Буратино, с тонкими, просвечивающими на солнце ушами, он постоянно что-то жевал и постоянно подтирал нос. От этого шмыганья и жеванья становилось тошно, но как откажешь в общении человеку, который ничего плохого тебе не сделал, а наоборот, вертится рядом с таким угодливым выражением лица, что язык не повернется отогнать. Через несколько месяцев он уже досконально знал привычки обитателей двора. Кто когда развешивает белье, у кого какие простыни, подштанники, фуфайки, кто когда возвращается с базара и что несет, у кого что булькает в кастрюле и шкворчит на сковородке – тонкие уши горели от любопытства и нетерпения быть в курсе всего.

К Волку он тоже попробовал было подойти, но тот не выказал ни малейшего желания общаться. После двух-трех попыток мальчишка понял, что успеха не добиться, а может, и родители наказали не лезть к старику. И все, может быть, было бы хорошо, если бы не сезон созревания тут.

В этот год природа расщедрилась, ветки, словно войлоком, были облеплены карминными ягодами – каждая из них готова была взорваться от малейшего прикосновения, но до полной спелости было еще далеко. Полная спелость – это густая южная ночь, это волшебные чернила, пропитанные солнцем! Везир знал это и охранял дерево еще больше.

То ли черт дернул неугомонного Йемишбаша, то ли показалось, что Везир дремлет, но мальчишка предпринял отчаянную попытку одним молниеносным движением очистить ближайшую ветку. Подкравшись, он мгновенно выбросил руку и ухватил ветку, но не успел сорвать и пяти ягод, как раздалось угрожающее «Гр-р-р!», и повинная рука была перехвачена железными пальцами.

– Тута неспелого захотелось, сынок? – издевательски захрипел старик. – Сейчас получишь!

– Вот, дядя Везир! – раздался детский голосок.

Везир оглянулся, не разжимая пальцев. На него, ясно улыбаясь, смотрел сын новых соседей и протягивал старику его же палку. Тонкие уши его горели на солнце, и вся его фигура выражала услужливость.

Волк сузил глаза, разжал хватку и неспеша взял палку. Затем на глазах побледневшего Самира резким движением переломил ее через колено.

– Значит, ты принес мне палку, чтобы я ударил твоего соседа?

Ничего не понимающий мальчик радостно кивнул. Во дворе повисло нехорошее молчание.

Везир долго смотрел на ребенка. Назаров помнил этот взгляд и сейчас. Трудно сказать, чего в нем было больше – гнева, боли или усталости. Он смотрел на ребенка, тот по-прежнему светло улыбался, и уши его так заманчиво горели на солнце... Назарову показалось, что у старика заходили желваки на скулах...

– Иди домой, – наконец сказал Волк. И тихо прибавил: – Скажи спасибо, что маленький.

И так сверкнул на него глазами, что мальчишка убежал, разревевшись.

В эту ночь плохо спалось жителям двора. Каждый обсуждал в своем доме дневное происшествие. Но, странное дело, никто не назвал Везира волком, кроме новых жильцов. Из их дома слышались крики почти до утра. Женщина кричала, что ни дня не останется в этом гадком дворе и доме, рядом с этим сумасшедшим дедом-зверем, который напугал ребенка. Мужчина отвечал чуть виновато и лениво, что ей не о чем беспокоиться, что он нашел хороший вариант обмена, и не драться же ему с выжившим из ума стариком.

Через неделю они съехали. И никто их особо не провожал, разве что, мать Назарова да еще несколько сердобольных соседок, но и те больше для того, чтобы неронить честь двора.

О них быстро забыли. Будто бы и не было этих жильцов. А новые оказались людьми веселыми и нечванливыми, быстро стали своими. И все пошло по-прежнему. Везир-Волк с новой палкой так же зорко охранял дерево, чтобы ни одна неспелая ягода не была сорвана торопливой рукой. Дети росли, учились, уходили в армию, женились, выходили замуж, родители их старели, а Везира-Волка, казалось, и время не брало – так же сидел под тутовником, опершись на палку, только побелел совсем. Белый волк...

Когда его не стало, стол накрыли под тутовником. Усыпанные красными ягодами ветки свешивались над скатертью, но никто не сорвал даже одну.

– Хороший человек был, – нарушил молчание отец Назарова. – Правильный.

Молчаливая, очень постаревшая родственница старика всхлипнула. И в ответ ей отозвалось еще несколько дружных всхлипов. Будто не Везира Угрюмого Волка провожали, а самого доброго человека.

А больше всего плакал высокий, плечистый парень Самир-Йемишбаш, к тому времени уже отслуживший в армии. Словно родного деда провожал...

После Везира-Волка тутовник как заколдовали. Перестал плодоносить и начал крениться. И проезд загораживал, и тени никакой не давал, и листва поредела, а спилить ни у кого рука не поднималась.

Назаров доел бутерброд, кинул еще раз взгляд на дерево и вернулся в дом. Он порядочно прозяб, хорошо, что от стенной печи веяло жаром. Это были старые дома, еще дореволюционной постройки, почти во всех были печки-голландки, газа они поглощали много, но протапливали дом гораздо лучше электрических печек.

Надо было хотя бы как-то начать статью. Назаров попытался настроиться на опостылевших Симу К., Алика З., на загулявшего Одиссея с его Пенелопой и понял, что не сможет. Перед глазами отчетливо встал Везир-Волк, его тяжелый, полный иронии и скрытой издевки взгляд. Назаров еще раз перелистал сборник, подумал немного и решительно выключил ноутбук.

В редакции удивились внезапному отказу Назарова, но потом смирились. Сборник рассказов в роскошном бордовом переплете с золотым обрезом вышел с предисловием другого критика. Вступительная статья о психологизме современной прозы была выше всех похвал. Молодые авторы остались очень довольны.

## **Минутка**

*И всем казалось, что радость будет,  
Что в тихой заводи все корабли,  
Что на чужбине усталые люди  
Светлую жизнь себе обрели.*

**Александр Блок**

В конце концов это становилось невыносимым! Угловая квартира в доме № 13 на 4-й Хребтовой регулярно оглашалась жалобными воплями, которые в идеале должны были изображать вальс Шопена «Минутка».

Но «Минутка» исполнялась в темпе медленно надвигающихся танков! Бедный Фридерик Шопен! Хорошо, что он не дожил до конца 20-го века. В кошмарном сне, на последнем кругу дантова ада он не мог бы представить себе такое издевательство над его произведением. Легкий, искрометный, звенящий как колокольчик, вальс рокотал, грохотал и рычал! И заставлял его рычать не какой-нибудь юный мученик музыкальной школы и не скучающая девица, от нечего делать терзающая пианино, а вполне уважаемый, солидный отец семейства, профессор биологии, ныне пенсионер и очень положительный человек, Коммунар Бенедиктович Таначек.

Его имя и фамилия заслуживают отдельного разговора. Но вначале о злополучной «Минутке».

Отчего-то Коммунару Бенедиктовичу не сиделось на месте. Пересчитав всевозможные тычинки и пестики и окончательно отделив хордовых от беспозвоночных, он заскучал. Неугомонный нрав толкал профессора на самые отчаянные поступки. То он вспоминал, что в детстве неплохо рисовал, и поэтому на следующий день его кабинет превращался в студию, где повсюду были раскиданы фрукты: профессор биологии живописал исключительно натюрморты. То, дыша воздухом на балконе, он разглядывал на небе какую-то Богом забытую звезду, и на следующий день домашние не могли дозваться его к ужину, ибо профессор обозревал небесную ширь в старую подзорную трубу, а потом сравнивал увиденное с астрономическим атласом. То принимался мастерить что-то из дерева и непременно заезжал себе молотком по пальцам. Но все эти увлечения были цветочками по сравнению с музыкой! В злую минуту озорной бес шепнул профессору, что неплохо бы вспомнить домашние уроки музыки. Бесовский шепот оказался громким, и отцовское пианино, мирно пылившееся в углу гостиной в качестве мебели, было открыто и настроено. И 4-ю Хребтовую, маленькую зеленую улочку южного города, стал раздирать оскорбленный вой ни в чем не повинного Petroffa<sup>1</sup>.

Вот теперь пришла пора рассказать о пышном имени и фамилии профессора. Может быть, только они и были подстать его нраву.

Фамилию он получил от какой-то ветви рода чешского композитора Леоша Яначека. Путем головоломных кульбитов судьбы и истории самые отчаянные и авантюрные представители рода осели в южном городе на берегу моря. Там они окрепли на местных ветрах и пустили корни в соленую абшеронскую землю. Местные жители мгновенно перекроили благородную фамилию и чешское «Яначек» превратилось в азербайджанское «ЯнаджАг»(топливо). Величаться топливом никак не входило в планы представителей рода, и они почли за благо стать Таначеками. Но прозвище «янаджАг» так и прилипло к ним и, видно, неслучайно. В крови неумных чехов горел огонь революционной романтики, и, озаренный этим огнем, юный Бенедикт Таначек назвал своего первенца Коммунаром. Было это в ярких 20-х годах, когда молодая страна Советов в один голос распевала «Наш паровоз летит вперед, в коммуне останька!» и строила счастливое коммунистическое будущее.

Но огневые двадцатые сменились тридцатыми, и энтузиасты революции стали уходить на второй план, а потом от них и вовсе стали забываться. В один чудесный сентябрьский день Бенедикт Таначек ушел из дома и не вернулся. И в памяти восьмилетнего сына он остался воплощением радушия, неумной фантазии и счастья. Мама вначале плакала, потом долго обивала пороги каких-то «важных людей» и наконец однажды вернулась домой молчаливая с маленьким листком бумаги в руках, на котором было написано «десять лет без права переписки». Коммунар не знал, что это значит, но навсегда запомнил тонкую руку матери, которую она уронила на колени ладонью кверху, как нищенка. И в ладони этой был смятый клочок казенной бумаги.

После отца им с матерью пришлось сменить немало квартир и углов. Коммунар помнил этот период жизни как длинный путаный сон, где они с матерью проходят по бесконечной цепи коридоров. Мать прижимает к себе несколько узлов с вещами, в руках Коммунара тоже узелок; по коридорам протянуты веревки с сохнувшим бельем, откуда-то несется ругань, смешанный запах какого-то варева, ветер плачет в незасланных оконных рамах, и кто-то кричит со двора: «Эй, женщина, пианину куда?».

Пианино было единственной громоздкой вещью, которую мать не продала. Таскала его за собой по всем переездам, договаривалась с грузчиками, молча выслушивала брань и насмешки жильцов над «недорезанными врагами, которым самим жрать нечего, а туда же – на пианине играют!»

<sup>1</sup> Марка пианино.



Но миниатюрная хрупкая мать, которая в недолгие годы замужней жизни не желала самостоятельно преодолеть даже пять ступенек у входной двери и капризно звала мужа «Бенечка, а помогать?..», проявила чудеса стойкости и воли. Маленький алый рот, созданный, казалось, лишь для поцелуев, свелся в упрямую щель, белые мягкие руки, учившие сына музыке, привыкли мыть полы щелоком и жавелевой водой, а холеное тело вытянулось в жесткую струну, звучащую одной нотой: выжить и поставить на ноги сына! По-прежнему хрупок был ее облик, только волосы приобрели цвет позолоченного серебра – так обычно седеют рыжие.

И в памяти осталось, как мать после работы иногда подходила к пианино, откидывала крышку и брала начальные аккорды вальса «Минутка». Но распухшие обветренные пальцы уже не слушались ее, воздушный вальс громыхал как танк, мать в сердцах закрывала пианино и брала с Коммунара слово, что тот выучится играть во что бы то ни стало. Хотя бы этот вальс.

– Ты понимаешь, – задыхаясь, говорила мать (она мучилась астмой, но все равно смолила одну за другой папиросы «Казбек»), – это самый веселый вальс Шопена. Он был молодой, очень красивый, нравился многим женщинам. Как-то он пришел в гости к известной писательнице, а та была занята и Шопена попросили подождать. И в комнате, кроме него, была только маленькая пушистая собачка, очень балованная. На шее у нее был колокольчик, собачка носилась по комнате, играла с собственным хвостом, забавно подпрыгивала и колокольчик звенел ей в такт. Шопена это развеселило, и он стал подыгрывать собачке на рояле. В эту минуту вошла писательница, рассмеялась и спросила, сможет ли он сочинить музыку под этот собачий танец? Шопен согласился и на следующий день принес ей ноты вальса, который называл «Минутка»<sup>1</sup>. Ведь это была и его счастливая минутка в жизни.

– А почему «Минутка»? – спрашивал Коммунар, и жесткая рука матери ерошила ему волосы.

– Потому что счастья в жизни и так немного, а беззаботного, легкого счастья совсем мало. И оно длится очень недолго. Но человек помнит о нем всю жизнь.

– Почему? – не отставал сын.

– От него хочется летать, петь, смеяться и прыгать, как та маленькая собачка. Это счастье самое светлое, беспечальное. Как летнее утро. Оно чистое, настоящее...

Мать еще что-то говорила, но Коммунар уже не разбирал слов. Он засыпал, положив голову на ее колени. Трудно было поверить в свежее летнее утро, когда за окном плакал ночной ветер, и капли дождя стучали в стекла, а от матери пахло щелоком и пылью...

И вот теперь, когда уже давно нет матери, и давно реабилитирован отец, а сам Коммунар Бенедиктович превратился в пожилого, серьезного человека, на него словно откровение нашло! Каждый день по четыре часа он терзал отцовский Petroff, пытаясь извлечь из его глубин кружевную «Минутку». Но толстые сосисочные пальцы упорно выдавали нечто, похожее на шопеновский похоронный марш!

– Вай, – кричала толстая Зарифа, соседка по угловому дому № 13, что на четвертой Хребтовой. – Вай! Кому-Нар (она выговаривала имя профессора именно так, что в непереводаемой игре слов обозначало кому гранат?), – и что случилось?! Кто умер?

– Менечка, – деликатно взывал с балкона репетитор по физике и математике Анатолий Иосифович, – это, конечно, не мое дело, но, может быть, вы перестанете терзать инструмент и Шопена? Он уже вертится в своем гробу, уверяю вас! Обратите свое внимание на что-то другое, вы ведь интеллигентный человек, в конце концов!

– Каждый день – до-дамм, до-дамм, бумм! – жаловалась портниха Нина, жившая на первом этаже и бравшая заказы на дом, – сил моих больше нет! Да еще ко-

<sup>1</sup> На самом деле Шопен никогда не называл своих произведений. Но этот вальс он назвал «Вальсом маленькой собачки». Ничего общего со знаменитым собачьим вальсом он не имеет. А вот название «Минутка» появилось позже, но именно оно стало окончательным названием произведения.



лотит так сильно, швейную машинку своим буханьем перекрывает.

– Мне уже стыдно перед соседями, – совестила жена. – Хорошо, что дети взрослые, не с нами уже живут. Но я в чем виновата? На улицу не могу показаться, все подбегает и у каждого в глазах два вопроса.

– Какие? – не переставая насиловать пианино, вопрошал Коммунар Бенедиктович.

– Когда все это кончится, и не сошел ли ты с ума?!

Но Коммунар Бенедиктович был непреклонен! Словно Сизиф, он штурмовал музыкальную гору, продвигаясь вперед по шажочку и скатываясь обратно на два шага.

Прошла весна, всегда такая стремительная в этом южном городе. Миновало долгое неистовое лето, и наступили последние сентябрьские дни. В этом коротком, полном грустной прелести времени таился запас сил и энергии. Коммунар Бенедиктович принялся штурмовать Шопена с еще большей яростью!

И вот уже неуклюжие, камнепадные звуки сменились более легкими, в них появились ликующие, игривые ноты. А затем и вовсе музыка наполнилась звоном и счастьем.

Теперь пальцы профессора не казались сосисочными, они скользили по клавишам и летали над ними, словно в них струилась не кровь, а шампанское.

Теперь уже соседи подходили к окнам и балконным дверям, чтобы послушать звуки, лившиеся из профессорского дома. И даже старые сосны, уныло кряхтевшие от каждого порыва ветра, стояли неподвижно и тоже слушали. И в эти минуты крепко верилось, что в жизни бывают моменты беспредельного, сплошного счастья, не омраченного ни печалью, ни раздумьем, ни заботой. Счастье, о котором говорят не «да, но...», а просто одно твердое «Да»!!!

– Это надо же, – не то с завистью, не то с восхищением покачивал головой сосед-репетитор. – Он все-таки сделал это! Чего только не бывает в жизни...

– А я ичто гавариль? – шумно вздыхала необъятная Зарифа, имя которой по иронии судьбы означало «тонкая, нежная». – В наш дом плохой люди не живёт! Ай, маладес! – одобрительно кивала она в сторону профессорского окна и заговорщицки добавляла: – Когда Аллах талант даёт, то уже во-от такой большой даёт! – и разводила при этом руками, определяя размер выдаваемого таланта. – А если не дает, то совсем не даёт!

И при этом сокрушенно посматривала на окна своей квартиры, где за письменным столом битый час корпел над уроками ее внук.

А портниха Нина лишь улыбалась и подносила руку к глазам. Но мелкие слезы терялись в морщинках и поэтому казалось, что Нина лишь жмурится на солнце.

На следующий день после виртуозного исполнения «Минутки» Коммунар Бенедиктович с супругой гордо спустились во двор, не спеша прошествовали мимо восхищенных соседей и направились на базар. Надо было засолить капусту на зиму; последние теплые дни были на исходе, и за ними вновь надвигалось время, когда дождь стучит целый день в окна, а солнце выглядывает лишь на минутку...

## **Свободный**

«Вильгельм-Дроня»...

Его давно уже называли так. И за глаза, а порою и в глаза. По имени-отчеству его величали только гардеробщица тетя Вера да редактор переводческого отдела Лев Зусьевич – оба люди пожилые, хранящие верность церемонным обращениям. Иногда ему казался странным звук собственного имени – он вздрагивал и подслеповато моргал бесцветными глазами. Гораздо привычнее, чем выпретенное Артемий Кон-

стантинович, было обращение по фамилии – Сорокин, а еще привычнее эта странная кличка – «Вильгельм-Дроня». Он не обижался: казалось, порог обиды, унижения, насмешки не существовал для него. Да и как можно унижить человека, не стеснявшегося ходить на работу в измятой донельзя рубашке, заляпанном пиджаке с вечно болтающимися пуговицами и побелевших от времени брюках. Когда ему намекали на несоответствие внешнего облика высокой должности корректора в крупном журнале и пеняли на неэстетичную одежду, он лишь пожимал плечами, и некое подобие улыбки появлялось на серых губах.

Сорокин не то, чтобы пренебрегал материальными ценностями – ему нравились и добротная одежда, и хорошая еда, но он не считал нужным самому добиваться их. Есть – хорошо, нет – тоже славно. Он не выпрашивал ни путевок в санаторий, ни интересных командировок, не требовал прибавки к зарплате, ни даже отпуска в летние месяцы. Но и витающим в облаках переростком его тоже нельзя было назвать. Он как бы существовал в двух параллельных мирах, причем материальный, плотный и зримый был где-то внизу, и в нем Сорокин оставлял лишь свою оболочку, действительно неэстетичную. Душа же парила в поднебесье, беседовала с Пушкиным, восторгалась Державиным, спорила с Ахматовой и Шелли и упоенно замирала перед небесно-золотым чертогом своего кумира – Вильгельма Кюхельбекера.

Незадачливый поэт, имя которого, в основном, упоминалось в общем списке «Поэты пушкинской поры», друг Пушкина и Баратынского, декабрист и коллежский асессор – был всем для Сорокина. Стоило ему завалиться на диван с потрепанной книжкой стихов Кюхельбекера, как время замирало, и жизнь казалась одним большим, сплошным праздником. Он искренне полагал, что только переменчивая фортуна оставила Кюхлю в вечной тени его великого лицейского товарища и если бы не роковая цепь случайностей, то именно Кюхельбекер, а не кто-то другой блистал на литературном небосклоне той поры. Сорокин знал о Кюхельбекере все, книгу Тынянова «Кюхля» цитировал чуть ли не наизусть и так надоел сослуживцам, что кличка «Вильгельм» пристала к нему всерьез и надолго.

Семьи у него, конечно, не было. Как-то не задерживались жены рядом с человеком, с которым даже Обломов со своей любовью к дивану и халату казался сгустком энергии.

Впрочем, дамским вниманием Сорокин не был обделен. Трудно сказать, что манило их в нем – нелепом, неряшливом, не вписывающемся ни в один из стандартов, привычных человеческому сознанию. Не человек, а одно сплошное «не». Несовременный, непрактичный, незаземленный. Очевидно, это «не» и притягивало к нему женщин. Брутальность или то, что выдается за нее – нагловатость, резкость, властность прискучивали им, и они припадали к старомодности Сорокина, как к живительному роднику, бессознательно ища в нем ласки и тепла. До Сорокина в конце концов доходило, что дамы ждут от него не только интеллектуальных бесед, и он, как ни странно, оказывался страстным любовником. И женщины, пораженные этими новыми талантами Сорокина, сохраняли о нем трогательную и благодарную память. Но ни одной из них не удалось задержаться надолго – для этого нужна не только удивленная нежность, но и бег в одной упряжке по дороге жизни, а впрягаться и тем более бегать Сорокин решительно не умел. И женщины оставляли его, кто со слезами, кто с криком, кто с упреками, и Сорокину было тяжело от их боли, но изменить что-то в себе он не мог. Все облеченное в плоть и кровь существовало для него словно за стеной невидимого бассейна. За его пределами шумела жизнь, – не всегда понятная, тяжелая, добрая, жестокая, милосердная – она неслась, мчалась, рвалась и создавала связи, но Сорокин существовал в своем плотно замкнутом бассейне, и немеркнувшим светом для него был образ Вильгельма Кюхельбекера.

Вторая, более ранящая часть клички – «Дроня» расшифровывалась просто. Вильгельм Кюхельбекер, будучи на поселении в городке Баргузин Иркутской области,

умудрился жениться там на дочери местного почтмейстера Дросиде Ивановне Артемовой, миловидной, но почти неграмотной и очень раздражительной бурятской девице. Она не могла выговорить и фамилии своего мужа, называя его «Клухербрехером». Но он звал ее ласково «Дронюшка», ей он читал свои сентиментальные стихи и во всем потакал. В ее облике заключались для него уют и обаяние, нежность и женственность. Впрочем, милый поэт был не оригинален. Разве за несколько веков до него странствующий рыцарь из Ламанчи не обожествил крестьянскую девушку Альдонсу Лоренцо и не нарек ее Дульсинеей Тобосской? Что нам стоит дом построить – нарисуем, будем жить!

Нелепый, долговязый, глухой на одно ухо (а к старости и вовсе ослеп), Кюхельбекер – драчун и дуэлянт, добряк и умница, человек, в жизни которого было больше безудержной пылкости и недоразумений, чем здравого смысла, был близок Сорокину и недосыгаем для него. Донкихотство Кюхельбекера было несвойственно Сорокину – для этого он был слишком пассивен. Но – безумству храбрых поем мы песню! Само очарование подвигом, отвагой, куражом уже зажигало золотой свет счастья в сердце скромного корректора литературного журнала. Имена Вильгельм, Дросида, Дроня не сходили с его уст. О Кюхельбекере он мог говорить бесконечно, мечтал съездить в Тобольск и поклониться его могиле. Сослуживцы, заметив издалека в коридоре долговязую сутулую фигуру, под любым благовидным предлогом бросались враспынную. Взволнованный шепот «Вильгельм-Дроня» отскакивал от стен как клич SOS. Сорокин не слышал этого. Снисходительный к окружающему миру, он не доверял ему и стремился в собственную обитель радости – к вожделенному неистовому романтику Вильгельму и его ненаглядной Дросиде. Только с ними он испытывал чувство неомраченного счастья – такое состояние он пережил только раз, когда в девять лет впервые увидел море с высокого утеса. Необъятность двух стихий – небесной и морской – так потрясла его, что ночью он долго не мог уснуть, и мать выговаривала отцу, что нельзя сразу обрушивать на мальчика столь яркие впечатления. Никогда более это состояние не повторялось – даже самым радостным моментам жизни всегда сопутствовала неуверенность, тревога, подозрительность. Они легкой тенью заволакивали счастье и мешали ощутить его сполна. Но, слава Богу, никуда не денутся бескрайность и широта двух лазурных стихий, потому что они вечны, и, слава Богу, никуда не денутся Вильгельм и Дросида, потому что они уже в вечности, а значит, незыблемы. А если так, что значат все насмешки и подтрунивания, все намеки и жалостливые взоры? Он, Сорокин, маленький ничтожный человек, жалкий корректоришка, возмущающий и даже оскорбляющий своим видом более успешных сослуживцев – на самом деле богаче их всех. У него есть бескрайность моря и неба, есть Вильгельм и Дросида, есть изумительная легкость отказа от всего заземленного, материального, вещного. Он, нелепый «Вильгельм-Дроня», счастливее них. Он...

После очередного отпуска сотрудники журнала не сразу заметили отсутствие «Вильгельма-Дрони». Затем по отделам дружно прошелестело радостно-удивленное: «Да вы что?! Взял расчет? Неужели уехал? В Тобольск? О, Боже! Ну, туда ему и дорога! С милым сердцу Вильгельмом остаток жизни проведет. А квартира как же? Дурак – он и есть дурак. Дальним родственникам оставил? Повезло им. Хорошо еще, что не чужим людям. С такого бы случилось. А кем? Школьным библиотекарем?! Фи-у-у! Да, что с такого возьмешь? Блаженный и есть. Ну, хоть позорить отдел своим драчным видом не будет. Все к лучшему!»

– Хороший человек Артемий Константинович, умница. Дай ему Бог. Скучно без него будет, – задумчиво протянула гардеробщица тетя Вера.

– Да уж, – неопределенно пробормотал неповоротливый, похожий на встречанную птицу, редактор переводческого отдела. И вздохнул полужавистливо:

– Свободный.

## Неловкость

*Совесьть ночью, во время бессонницы,  
несомненно, изобретена.  
Потому что с собой поссориться  
можно только в ночи без сна.  
Потому что ломается спица  
у той пряжи, что вяжет судьбу.  
Потому что, когда не спится,  
и в душе находишь судью.*

**Борис Слуцкий**

Вечное качество интеллигента – испытывать неловкость в любой щекотливой ситуации – не оставляло его. Кажется, это называется «испанский стыд»: сделал неблагоприятное кто-то другой, а стыдно тебе.

Но почему именно к этому случаю, – Господи, уже 35-летней давности, – так настойчиво, так упорно возвращалась его память? Словно на какое-то время она перестала быть волшебным орудием человеческого мозга, а превратилась в мясорубку с застрявшим куском жилистого мяса. Мясорубку заклинило – и не туда, и не сюда, точно так же заклинило и его память, с дьявольской услужливостью поставившей издерганному сознанию один и тот же давний эпизод.

И знала же проклятая, когда нападать. Всегда в один и тот же час – в половине четвертого утра. Как заведенный, открывал он глаза и продолжал лежать в постели, с недавнего времени одинокой. Подруга жизни, как высокопарно называли жену в старинных пьесах, покинула его и этот мир. Они прожили вместе 36 лет, вырастили двух успешных сыновей, обзавелись внуками. Сыновья поочередно звали его к себе после смерти матери, но менять привычки в старости трудно. Не то, чтобы боль утраты сильно жгла его, жена давно болела, и он привык к ее болезни так же, как привык к ней самой, но оставить дом, где все было ему знакомо, и главное – где он был хозяином, он не мог. К счастью, немощь еще не одолевала и в посторонней помощи он не нуждался.

К тому же хозяйствовал он исправно. Дом не приобрел сиротливого облика, как это обычно бывает после ухода хозяйки, наоборот, в нем по-прежнему приветливо светились чистые окна за цветными занавесками и пахло теплым живым духом.

Все было бы ничего, если бы не заклинившая в половине четвертого утра память. Хотя, в принципе, и это объяснимо. Одиночество пожилого человека, бессонница, ночная тишина, не с кем словом перемолвиться – вот и лезут в голову разные мысли. Но отчего именно эта, что не так он сделал в тот ноябрьский день 35 лет назад?..

Он, тогда еще не солидный, обрюзгший Мстислав Ильич, а просто Славик, жил в коммунальной квартире и работал в редакции крупного литературного журнала. Жаль, что древние греки не придумали музу журналистики: Славик творил явно под ее благосклонным взором. Он был, что называется, подающим большие надежды и восходящей звездой эссеистики. Старшие коллеги отмечали его литой «римский» слог и деликатную манеру повествования, наперебой хвалили и каламбурили, что «Слава составит славу отечественной журналистики».

Был среди его знакомых некий Марк Эльдарович Роскин. Вот с него-то, пожалуй, и началась вся эта история.

Был это приземистый добродушный толстячок с настоящим брабантским брюшком. Славик за глаза даже называл его Ламме Гудзаком – так разительно было сход-

ство Роскина с неунывающим героем Костера. Прибавьте к этому карие веселые глазки, пухлую инжирину носа, толстые щеки, усыпанные веснушками – и перед вами истинный маленький фламандец. И только волосы, некогда рыжеватые и густые, стали сейчас снежно-белыми и легкими, как пух. Они не поредели, но словно утратили былую плотность и теперь трепетали от каждого порыва ветра. Это придавало облику толстячка воздушность и, глядя на него, хотелось улыбаться. Марк Эльдарович излучал радость, хорошее настроение, а такие люди – редкость во все времена.

Помимо внешности и жизнелюбия он обладал еще одним потрясающим даром – умел великолепно, обаятельно и живо рассказывать о людях, с которыми его свела судьба. Этот дар, пожалуй, был особенно ценным для Славика. Именно в этих феерических, полных искренней любви рассказах черпал он материалы для своих эссе. И, надо признаться, никогда не забывал поблагодарить старика. А тот...

Тот прямо расцветал от похвал и сыпал, бросал, кидал к перу Славика роскошные букеты своего вдохновения. Рассказчиком Роскин был отменным, под стать Ираклию Андроникову, чье мастерство стало легендой.

Заводил он, к примеру, разговор о какой-то давно умершей актрисе:

– Ах! – вначале следовал полувздох-полупауза, и маленькие глаза прикрывались; веки подрагивали. Перед внутренним взором рассказчика вероятно возникала героиня самозабвенного монолога.

Затем откуда-то из глубин серого пиджачка к слушателю вытягивалась пухленькая ладошка лодочкой. Она выражала безмерную скорбь по поводу рано ушедшего таланта.

– Дорогой мой! – пауза, наконец, прерывалась. – Если бы вы только знали, что эта была за женщина! Колдовство, магия, богиня! Любые эпитеты будут жалки! Человеческий язык груб и темен, в нем нет слов, чтобы описать ее! Она была музыкой, феей света, чудом! Каждый жест ее был лучезарным, походка летящей, голос – волшебным. Как она играла Джульетту!.. Боже! В 42 года играть Джульетту и сделать так, чтобы зритель поверил в твою невинность, чистоту, прелесть, в твои 14 лет! Чтобы он забыл о морщинках на твоём лице и уже не девической талии? Что это? – Марк Эльдарович подпрыгивал на толстеньких ножках и всплескивал руками. – Что это, я вас спрашиваю? Что это, как не дар Божий, великий талант? А сколько грации, обаяния, изящества, ах!

И из глаз Ламме Гудзака лились непритворные слезы. В эти секунды Славик думал, что надпись «незабвенным» на лентах к похоронным венкам не только красивые слова, и что есть люди, в памяти которых любимые люди всегда живы.

И так же волшебным и «вкусно» Марк Эльдарович умел «обставить» любое свое повествование. Если он говорил об известном поваре, то от названий блюд, казалось, исходил аромат, и слушатель нетерпеливо сглатывал слюну. Если о музыке, то в голосе его плакала скрипка и глухо звучал тромбон. Он не рассказывал, а разворачивал действие, как разворачивают военные знамена и начинают наступление. Победителем в этой войне был неизменно он, а побежденный чувствовал себя счастливейшим из смертных. Где и когда еще удастся услышать столь вдохновенные речи?!

Иногда старик утомлялся и начинал рассказывать о том, как во время его юности одевались женщины, какой трамвай шел от Шестнадцатой Завокзальной к центру города, и какой на балконе рос виноград – «сорт «дамские пальчики», такой же нежный и вкусный, как они!».

При этих словах он подмигивал в сторону Славика, но тому вдруг становилось грустно. А отчего, он и сам не знал. Вероятнее всего, все дело было в белых пуховых волосах Ламме Гудзака. Они были похожи на облако и так не вязались с земным жизнелюбием их хозяина. И в эти минуты пронзала мысль: недолго еще упиваться роскошью живого рассказа, надо ловить бесценные мгновения!



– Тома-а-а, – кричал старик жене. – Томочка, чаю бы нам! – голос сразу становился визгливым: так старик уравнивал полет вдохновения с обыденностью.

Появлялась Тамара Ефимовна, худенькая, очень белокожая женщина. Она сосредоточенно несла перед собой поднос с чаем и печеньями, и в каждом ее движении была забота и тревога: все ли в порядке, хорошо ли ее неугомонному Ламме?

Но Ламме был доволен, Ламме витиевато и изысканно благодарил ее, и она так же церемонно отвечала, чуть склонив голову набок. И Славику казалось, что все в этом доме подчинено законам какой-то неведомой пьесы, и что она не прискучивает ни исполнителям, ни зрителям.

Однажды старик так воодушевленно рассказывал о каком-то поэте, что Славика осенила идея.

– А что, если вы сами напишете о нем воспоминания?! Правда, Марк Эльдарович! В декабре его юбилей, журнал отметит это непременно. Напишите, это будет, так сказать, материал из первых рук. Одно дело – кто-то другой пишет о нем с ваших слов, а другое дело вы – современник, личный знакомый. Это же здорово!

– Во-первых, не кто-то, а вы, Славушка, – старик перегнулся вдвое и метнул на него быстрый взгляд. Но в позе его не было угодливости, жалкой в пожилых людях; скорее – почтение с легкой хитрецой. – Вы, вы! – добавил он решительно, и глаза его озорно вспыхнули. – Вы у нас блестящий эссеист, и я буду счастлив, если на моем могильном камне напишут: «Он был другом Мстислава Горчева», а люди будут тихо спрашивать: «Неужели самого Горчева?!» и с уважением озираться на мою пыльную могилу!

– Польщен, – шаркнул ножкой Славик, – но, Бога ради, оставим в покое пыльные могилы и вернемся к журналу. Смотрите, Марк Эльдарович, вы уже расстроили жену, она чуть не плачет.

И правда, глаза верной подруги Ламме наливались слезами, а выражение лица становилось совсем детским. Она не могла слышать даже шуточных разговоров о смерти. Обожаемый Марик был для нее всем: мужем, ребенком, другом. Единственный их сын умер мальчиком в войну и больше детей у них не было.

– Сам не знает, что городит, – ворчала женщина, – ему только меня бы дразнить.

– Марк Эльдарович, напишите, а? – уже серьезно просил Славик. – Поверьте, это будет грандиозно с вашим-то талантом. Вы только оформите все на бумаге, а я передам главному редактору. Я ему все уши прожужжал о ваших рассказах. Он будет счастлив опубликовать вас. А я почту за честь лично вручить вам номер журнала. Миленький, пожалуйста!

– Вы уверены? – лицо Ламме Гудзака приняло непривычное тревожное выражение. – Вы думаете, у меня получится?

Славик искренне удивился.

– А чего тут уметь, с вашим мастерством?! Просто перенесите все на бумагу и отдайте мне.

Старик колебался и о чем-то напряженно думал. Потом принял прежний вид и беззаботно махнул рукой.

– Была не была! Напишу!

Дальше все происходило словно во сне. Покатилась череда каких-то неотложных дел, прошел сентябрь, октябрь, ноябрь перевалил за половину. И только когда редактор напомнил ему об обещанном материале на декабрь, Славик хлопнул себя по лбу и отправился к Роскиным.

Как ни упрашивала его добрейшая Тамара Ефимовна пообедать или хотя бы выпить чаю, как ни радовался бурно сам хозяин, Славик наотрез отказался задержаться. Ноябрьские сумерки наступали быстро и надо было еще успеть заскочить в несколько мест. Он, не глядя, схватил рукопись, свернул ее, и так же, свернутой, передал редактору.



Редактор обещал дать ответ через три дня. Но будь она неладна – эта дьявольская круговерть дней и дел, когда не помнишь себя от усталости, когда превращаешься в механизм, которому надо выполнить и то, и это, и третье, и ни в коем случае ничего не упустить из виду. И вроде бы везде успеваешь, а потом оказывается, что упустил крохотное мгновение, когда можно было бы не совершить роковой ошибки. Но мгновение упущено, и уже ничего не поправить. Славик напрочь забыл спросить редактора о рукописи, а тот и не заводил разговора.

Утром 28 ноября ему позвонила Тамара Ефимовна и тихим голосом попросила зайти.

– Нет-нет, ничего не случилось, – уверяла она его, – просто Марку Эльдаровичу нездоровится, а он так хотел бы вас видеть.

Как только Славик переступил порог гостеприимного дома, ему стало ясно, что произошло что-то тяжкое. Так бывает, когда в цветущий садовый куст вдруг въезжает, к примеру, газонокосилка и ломает его. На земле валяются растерзанные грязные цветы, оборванные листья, стебли. Куст еще живой, корни не повреждены, но от былого великолепия нет и следа.

– Что случилось, Тамара Ефимовна? – шепотом спросил Славик.

Женщина бодрилась, хотела что-то сказать, но губы ее задрожали. Она только махнула рукой и беззвучно заплакала.

– Тома-а-а, – послышался надтреснутый голос. – Я тебе запрещаю плакать, слышишь? В конце концов, сам виноват. Славик пришел?

– Вы не заходили, – торопливо заговорила Тамара Ефимовна, – а Марик – ну, вы же знаете, какой он ребенок – ему интересно было, что скажут о его рукописи, и он выведал адрес и сам пошел в редакцию. Я толком не знаю, что там было, но вернулся он весь зеленый. На нем лица не было. Молча бросил рукопись на стол, лег в постель и с тех пор не встает. Уже восемь дней. Спрашиваешь, что болит, говорит – ничего. Но сам тает, я же вижу. Ему плохо, а он мне улыбается, ласточка моя... – у нее опять задрожал подбородок.

– Ну, не надо, Тамара Ефимовна, прошу вас. Это просто недоразумение какое-то, сейчас разберемся. Я к нему пройду, можно?

Перемена в Марке Эльдаровиче была разительная. Из добродушного Ламме Гудзака выкачали воздух, силы, улыбку. На маленькой, почти детской кровати едва возвышался он, жалкий, сдувшийся, как воздушный шар. Даже белый пушок на голове казался приклеенным и серым.

– А, Славочка, здравствуйте. Нечасто нас посещает Слава! – Ламме еще пытался шутить. – Да все в порядке со мной, – он поморщился на безмолвный вопрос. – Это женщины вечно все преувеличивают.

– Нет, – запротестовала жена. – Славик, может, я ничего и не понимаю, но он вернулся сам не свой из редакции. Ему сказали, что это все чушь и ерунда, что такие рукописи близко к журналу нельзя подпускать. А по-моему, написано замечательно, я читала и плакала от восхищения. Посмотрите вы, как профессионал, ну, может быть, там есть какие-то грамматические ошибки, человек-то уже немолодой, но главное, ведь суть! А буквы-запятые выправить всегда можно. Зачем же человека так обижать?! – из глаз ее посыпались слезы.

– Ласточка моя, – донесся с кровати вздох. – Слава, скажите ей, чтобы не плакала, не могу я это слышать.

– Хорошо, вы только не волнуйтесь. Можно мне посмотреть рукопись?

Пробежав глазами несколько строк, Славик закусил губу и прошел к окну, словно ему не хватало света. Стоя лицом к окну было легче скрывать свои эмоции.

То, что он читал, было чудовищно. Поразительно бездарно и пошло. Славик подумал, что главный редактор, конечно, хам и невежа, раз наговорил невесте что пожилому человеку, но уж в отсутствии профессионализма его не обвинишь. Все, что

в устных рассказах сияло, искрилось, переливалось всеми красками, на бумаге стало мертвым, тусклым и банальным. Куда-то испарились яркие, сочные образы, сравнения, артистичность, особый язык, придававший рассказу вкус, цвет, запах, трепет самой жизни.

Умерли изящество и душевность речи. Умер – во второй раз! – сам герой эссе, звонкий, веселый поэт, чьи стихи были наполнены светом и воздухом. Он умер, раздавленный бесконечными «*ибо; следует подчеркнуть; необходимо отметить; из вышеизложенного следует; беспощадная смерть вырвала из наших рядов одного из представителей поэтического стана*» и прочими монстрами канцелярского стиля.

Славик читал и поражался. Неужели возможно, чтобы человек с таким светлым даром устного рассказа оказался настолько беспомощным на бумаге?.. Увы, видимо, да.

На душе у него стало скверно; он не решался повернуться.

Но маленькая пожилая женщина, любящая ласточка, не выдержала:

– Ну, как? – прервала она молчание. – Не правда ли, чудо, как хорошо?! Скажите же, Славик, мы только вам и верим!

Что он мог сказать им, двум парам напряженных глаз, с надеждой глядящих на него?..

– По-моему, написано превосходно, – пробормотал он. – Очень художественно, ярко.

Тамара Ефимовна просияла:

– А я что говорю! Простите меня, Славочка, но ваш редактор просто хам и дурак. Он ничего не понимает. Боже, какое счастье, что вы пришли. Что значит – настоящий специалист! Марик, ты слышал? У тебя превосходная статья! Это Славик сказал. Нет, и не просите, я вас никуда без обеда не отпущу!

И мгновенно был накрыт стол, и сухонькие ручки ее летали над скатертью, выкладывая тарелки с немудреной закуской. И хозяйева говорили без умолку, подкладывая ему самые вкусные куски и поднимали рюмки с наливкой за «славу отечественной журналистики», а ему было неловко, стыдно и гадко на душе.

– Так мы можем на вас надеяться? – Тамара Ефимовна говорила непривычно властно и быстро, словно боялась, что ее прервут. – Я все понимаю, Славик, вы подчинены вашему главреду, этому хаму, но вы – немаленький человек в редакции, он обязан прислушаться к вашему мнению. Боже, и как таких людей только держат на работе? Скажите ему все, что вы думаете о рукописи Марика, и пусть он печатает ее без разговоров! Я правильно говорю, Марик, ну скажи хоть слово!

Марк Эльдарович смотрел на него и трудно было сказать, чего больше в этом взгляде... Мольба, надежда или тень страшного прозрения – он бездарен на бумаге?.. Страх? Отчаяние?

Нет! Снова мольба, снова надежда в круглых карих глазках. И пушок на голове вновь побелел. Ламме Гудзак возвращается!

Славик собрался с духом:

– Да, я поговорю с редактором. Все будет хорошо. Он, наверно, просто, не вчитался. Но вообще он грамотный человек, – защитил коллегу журналист.

– И слушать ничего не хочу! – возмутилась Тамара Ефимовна. – Просто вы, Славик, очень хороший человек и не хотите никому причинить вреда. Но ваш главный редактор – спесивый дундук.

– Ласточка, – опять вздохнул Марк Эльдарович. Он чему-то улыбался и скатывал из хлебного мякиша шарик. Пальцы у него были совсем белые и какие-то плоские. – Ласточка, – повторил он почти шепотом.

Славик бегом скатился по лестнице. Оборачиваться ему не хотелось – очень трудно обернуться на людей, которые приветливо машут тебе вслед и знать, что обманешь их.

С редактором он, конечно, не поговорил. Да тот и не стал бы слушать – не о чем было говорить.

Статью в юбилейный номер он не написал. Не смог.

И, конечно, больше он никогда не бывал в гостеприимном доме Роскиных.

Он не подходил к телефону, а дома и в редакции попросил, чтобы всем говорили, будто он в командировке.

Ему передавали, что два раза кто-то звонил и тихим старческим голосом просил к телефону Мстислава Горчева, но перезвонить он так и не решился.

А потом, к счастью, опять закрутила-завертела жизнь, и дом Роскиных вместе со своими хозяевами отплыл в черные льды памяти. Он вспоминал о них все реже и реже, и вспоминая, оправдывал себя. И действительно, что ему оставалось делать? Лишить стариков надежды? Или отстаивать галиматью перед редактором?

Нет, ничего он не мог сделать. Но отчего все тридцать пять лет эта история не дает ему покоя? Отчего терзает его в этот глухой преддурный час, когда душа легче всего устремляется в небо?

Зайди он через три дня в редакцию, заведи сам рукопись, все бы обошлось. Уж он-то бы нашел нужные слова и никто не был бы в обиде.

Но, видно, так устроена жизнь. Слово кошачья лапа, она то гладит тебя, то впивается когтями. Может быть, просто для того, чтобы дать почувствовать – ты еще живой.

А может, и еще для чего-то...

## ***Птица с синим хохолком или снова мистика!***

(Из цикла «Питерские зарисовки»)

*Магдалине – дорогой моей подруге с любовью*

Видимо, Санкт-Петербург действительно волшебный, мистический город, во всяком случае, для меня. Никогда и нигде меня не окружало столько знаков и совпадений, как в Северной столице. Но начну по порядку.

Приехали мы в Питер на этот раз вовсе не отдохнуть, а трудиться в поте лица, т.е. волноваться, переживать, нервничать, или попросту поступать в Академию художеств им. Репина. Вернее, поступала (и поступила) дочь, а я была сопровождающим и весьма беспокойным лицом. Но – благодарение Богу, он наградил меня изумительными друзьями. И вот сразу по приезде с удивлением обнаруживаю, что в Питере я каким-то образом оказываюсь в компании «М». В декабре мы останавливались на Невском с подругой Марией. В июле другая подруга – Магдалина – специально приехала в Питер, чтобы увидеться со мной и поддержать нас. Иметь в подругах Марию и Магдалину – уже само по себе знак судьбы. Добавлю еще, что дочь мою зовут Милана, а жили мы на квартире, где была кошка Муся. Кроме того, квартира была недалеко от станции Удельной, где в 2008 году произошли события, описанные мною в одном из рассказов. В общем, совпадение на совпадении. Однако 24-е июля иначе, как вершиной мистики, назвать сложно.

Этот день обещал быть солнечным. Два предыдущих были такими жаркими, что казалось: бакинское лето решило поехать вслед за нами в Питер. Честно говоря, после двадцатидневной прохлады палящее солнце воспринималось нелегко. Нервы наши были на пределе: позади были тяжелые экзамены, и теперь мы с волнением и страхом ждали результата. Ожидание и неизвестность грызли нас, как собака кость, и дабы не быть изглоданными окончательно, нужна была срочная разрядка. Мы решили отправиться в Русский музей и уже собирались выйти из дома, как вдруг:

– Мама, можно я не пойду? – голос дочери звучал просительно.

– Болит что-то?

– Нет, просто... не знаю, что. Настроения нет. Погода как-то давит. Пожалуй-ста, можно я останусь дома?

Уговаривать мне не хотелось. К чему бездумные споры: и так уже все устали, а в музей можно и потом сходить. Тем более, что погода действительно резко изменилась: облака сдвинулись, укрыли солнце, и воздух стал мерцающим, жемчужно-серым. Тихий, неяркий, по-настоящему питерский день вступал в свои права.

Однако сидение дома могло привести к взрыву. Замкнутое пространство, напряжение и неизвестность – котел наших нервов мог лопнуть в любую минуту.

– Идем! – решительно сказала я.

Магдалина (не человек – золото!) безропотно вышла за мной, даже не спросив, куда.

Некоторое время мы шли молча. Настроение было... из рук вон плохое. Идти в музей не хотелось абсолютно. Просто слоняться – тоже радости мало. Впереди нас вышагивали важные жирные голуби, сонные вороны чуть покачивались на ветках деревьев. Во всем их облике читалась безмятежность, она была разлита в самом воздухе. Казалось, что бесчисленные гроздья рябин покраснели от стыда за нашу нервозность, а березы укоризненно спрашивали: «Ну и чего? Чего вы здесь ходите, мрачные, как тень отца Гамлета, и нарушаете мировую гармонию? Ни стыда, ни совести!»

– В один из давних приездов сюда я была в доме-усадьбе Репина «Пенаты». Там мне очень понравилось. Может, поедем? – предложила я неуверенно.

Сказано – сделано! И вот уже легче, а затем стремительней стал шаг, заблестели глаза. У нас появилась цель, значит, действия наши приобрели смысл! Через сорок минут добрались до Финляндского вокзала, взяли билеты, поглядели на ленинский броневичок и через некоторое время сидели в поезде.

Мало того, что небо, асфальт перрона, даже сам воздух были мягкого серого цвета, но и обшивка вагона, сиденья были такого оттенка. Казалось, день накрылся бархатным серым плащом и приготовился спать. Поезд тронулся с места.

Рядом со мной уселся бойкий долговязый мужичок и сразу же стал жаловаться на то, что ему не хватает смешной суммы на мороженое, а «так хочется, так хочется, что мочи нет!». Затем выяснилось, что нужная сумма у него все-таки была, он купил мороженое и довольно засопел. Потом снова заворочался, стал кому-то предлагать издавшие виды штаны («Честное слово, почти новые, два раза только надел!») Их долго не покупали, мужичок с кем-то препирался, прижимал руку к сердцу, что-то яростно доказывал. Наконец штаны купили, хозяин опять довольно засопел, поспешил вынуть деньги и начал философствовать на тему: «Хочешь жить – умей вертеться!»

Я сидела вполоборота к нему и смотрела в окно. Мимо, покачиваясь, проплывали названия маленьких станций: Ланская, Удельная, Парголово, Белоостров. Они звучали как далекая музыка. «Что за станция такая? Дибуны или Ямская?» – вспыхивали в мозгу полузабытые строки и на душе становилось хорошо и грустно. Ах, детство, ты было или нет?..

Репино утопало в зелени. Всевозможные кусты и деревья окружали небольшую станцию. Но и тут листва была притушена легким сумеречным светом. День словно извинялся за летнюю яркость и пытался соответствовать деликатной питерской сдержанности.

Дорога до «Пенатов» была неблизкой, но при такой прохладе и «вкусном» лесном воздухе идти пешком – одно удовольствие. Мы отмахали два километра довольно быстро, добрались до усадьбы и... нас постигло разочарование. Кассы были уже закрыты, в дом-музей попасть невозможно, зато можно было побродить по огромному парку вокруг дома.

Парк этот когда-то был разбит женой Репина Натальей Борисовной Нордман-Северовой – писательницей, художницей, женщиной талантливой, яркой, но чересчур экзальтированной. Как сказали бы сейчас – чудаковатой. В саду по ее идеям был выстроен храм Озириса и Изиды, больше напоминающий лубочную избушку, башня Шехерезады – огромное нелепое строение вроде смотровой площадки, маленькие деревянные мостики через пруды, колодец Посейдона с «настоящей артезианской водой». На всем этом лежала печать запустения. Вокруг было тихо, никто не нарушал торжественную печаль усадьбы. На перилах дома сидел огромный пушистый кот, и вид у него был такой, будто он за руку здоровался с самим Репиным, а мы из «понаехавших тут». Он терпеливо дал себя погладить, но тотчас отвернулся и стал вылизываться.

Мы несколько раз обошли вокруг дома. Подивились необычной расстекловке окон, заглянули в окна круглой веранды, служившей художнику рабочим кабинетом. Полюбовались легкими цветами лобелии, голубым ковром покрывавшими площадку около дома, и вдруг вышли к маленькому указателю:

«Великий русский художник Илья Ефимович Репин (1844-1930) завещал похоронить себя на территории усадьбы, на пригорке «Чугуева гора».

Мы стояли перед крохотным, утопающим в цветах пригорком. Венчал его простой деревянный крест. У подножия пригорка стояла небольшая ваза с сухим букетом и несколькими конфетами.

– А в 1987 году, когда я была здесь впервые, тут был бюст Репина, – заметила я. – В 1994 бюст заменили на крест, похожий на тот, который и установили первоначально после смерти художника. Он хотел, чтобы все было просто, чтобы могила его была «между двух можжевельников, так похожих на кипарисы», и чтобы в изголовье его было посажено дерево.

Магдалина промолчала. Где-то рядом с нежным шелестом упал лист, и сразу в тон ему отозвалась маленькая птица с синим хохолком. Начал накрапывать дождь.

– Репину бы понравилось очень, – серьезно и тихо сказала Магдалина. – Бархатный серый день, неяркая зелень, легкие синие цветы, пруды, заросшие ряской, птичка с синим хохолком, тихий дождь. Даже у тебя синий жакет и синий зонт. Готовая картина. Нежность, разлитая в воздухе.

– Это уже больше Левитан, а не Репин, – улыбнулась я. – А когда-то здесь кипела жизнь! Хозяева и гости шумели, спорили, пили чай, играли в крокет, музицировали, рисовали. Кого тут только не было! И Леонид Андреев, и Чуковский, и академик Бехтерев, и молодой Маяковский. Сейчас остались только нежность и память. Ладно, пойдем уже, дождь усиливается.

Я сделала шаг и вдруг остановилась пораженная:

– Магдалина, ты ничего не замечаешь?

– Нет, а что?

– Посмотри на цифры!

К кресту была прибита дощечка с именем художника и датами жизни и смерти.

«Великий русский художник Илья Ефимович Репин. 24 июля/5 августа 1844 – 29 сентября 1930»

– А сегодня у нас какое число? 24 июля! Получается, что мы, сами не ведая того, совершенно случайно пришли к Репину в гости в день его рождения?! Хотя и по старому стилю, но все же!

– Да еще к тому же в юбилей! – ахнула Магдалина. – Сегодня ровно 175 лет со дня его рождения. И это в то время, когда твоя дочь поступает в Академию имени... Репина!

Мы ошарашенно переглянулись и замолчали. Человек я далекий от мистики, но это Санкт-Петербург!.. Тут может быть любое чудо! Я стала лихорадочно рыться в сумке и вытащила две маленькие бакинские конфеты.

– С днем рождения, Илья Ефимович, – совершенно серьезно провозгласила я и положила конфеты в вазочку с цветами.

Уходили мы молча: впечатление от удивительного совпадения было слишком сильным. Птичка с синим хохолком все еще выводила свою песню, и голос ее звучал задорно и ласково. Сумерки сгущались все сильнее, воздух стал звонким и сильно потянуло лесной сыростью. Мы тихонько притворили расписную калитку усадьбы и вышли к стоянке автобуса.

– Чего только не бывает на свете?! Действительно, мистика какая-то, – улыбнулась Магдалина. – Ну кто мог предвидеть, что мы сегодня поедем в дом Репина и что именно сегодня у него юбилей?

– Ничему уже не удивляюсь, – ответила я. – В декабре таких мистических совпадений было хоть отбавляй. И, похоже, чудеса продолжаются!

– В добрый час! – приобняла меня подруга. – В добрый час!

Автобус мягко катил по поселковой дороге. День близился к концу. Дома нас ждали две дамы под литерой «М» – Милана и Муся, и еще ночь тревожного ожидания результатов экзаменов.

И на следующий день наши тревоги разрешились ко всеобщему ликованию и триумфу. Радовалась дочь своему поступлению, радовались я и моя дорогая подруга. Радовались все близкие нам люди. Это же так просто и так прекрасно – разделить радость ближнего.

А я еще раз убедилась в справедливости бессмертных слов: «Если душа человека жаждет чуда – сделай для него это чудо. Новая душа будет у него и новая у тебя».

Санкт-Петербург сотворил для нас это чудо. Он сотворил его не единожды. Спасибо ему за это!

## ***Однажды зимним днем***

День обещал быть неровным. Багров почувствовал это при пробуждении. Неприятно ныл затылок, видно, защемился позвонок, и нудная боль лучами расходилась по спине и плечам.

«Если тебе сорок лет и у тебя утром ничего не болит, значит, ты умер», – вспомнил Багров черноморское изречение и усмехнулся. Ему было 52, на здоровье он не жаловался, сорокалетний рубеж давно позади, и если бы не эта противная боль в позвонке, он еще вполне мог сойти за красна молодца-кровь с молоком.

Правда, молоко в крови давно уступило место коньяку. Багров любил побаловаться вечером рюмочкой благородного напитка. Был гурманом – ценил хороший коньяк, но не брезговал и дешевым, когда дорогой был не по средствам. Коньяк, лимон и немного музыки – идеальный вечер для интеллигентного холостяка. Для полного набора не хватало еще сигар, но Багров не курил.

Багров был разведен: память о шаловливом резвом создании Леночке, бывшем когда-то его женой, давно стала зыбкой и расплывчатой. Леночка прочно и счастливо проживала в другом городе с новым мужем и детьми. Брак ее с Багровым был студенческим: сошлись по пылкой страсти и так же быстро разбежались, без особых сожалений. Иногда глубины подсознания выдавали Багрову смутную картинку: пухленькое, упругое тело, пахнущее ванилью, смешной, вздернутый носик, испачканный мукой и сахарной пудрой. Багрову нравилось наблюдать, как сосредоточенно Леночка готовила оладьи на завтрак: она морщила лоб, заглядывая в книгу рецептов, смешно шевелила губами, подсчитывая граммы в ложках и стаканах, тяжело вздыхала, стоя у плиты и тело ее становилось медово-розовым от жара и просвечивало



сквозь кружевной халатик. Солнце било в желтые занавески на белой кухне съёмной квартирки, и Леночка в своем халате представляла сладкой богиней утра. Но это было, пожалуй, самым ярким воспоминанием о семимесячном браке, и больше Багров, как ни старался, ничего хорошего вспомнить не мог. Только утомительный быт, нехватка денег и бесконечные пикировки. Мать Багрова, скорбно покачивая головой, говорила, что исход скоропалительной женитьбы ей был известен заранее, ибо молодые еще не перебесились, что из финтифлюшки никогда хорошей жены не получится и что любят одних, а жениться надо на других. Багров выслушивал эти излияния и думал, что мать все равно бы нашла повод поскорбеть, даже если у него с Леночкой все было бы прекрасно.

Бесконечное жужжание матери бесило Багрова: «Ты сколько бобылем будешь ходить? Я внуков дождусь или нет?», и тут же слезливое: «Один ты у меня. Одна я тебя растила, думаешь, легко мне было, думала, хоть на старости лет порадуюсь, так нет же! Перед соседями стыдно, у всех дети как дети, внучата, а ты...».

Он гасил в себе радость, когда мать уезжала домой, в деревню. Давно было ясно, что ей хорошо там, среди своих сливовых деревьев, кур и уток. А ему было хорошо здесь, в городе, и ниточка между матерью и сыном с каждым днем становилась все тоньше. Не обрывалась, нет, но перетиралась. Взаимные визиты становились все реже, пока, наконец, не сократились до двух раз в год – на день рождения матери и на Новый год. И приезжая, Багров отсчитывал дни до отъезда.

После кончины матери он выждал приличествующий срок и стал сдавать дом на лето. Отбою от желающих отдохнуть на природе не было. Багров не заламывал цену, просил только присматривать за сливами, поливать их вовремя. Кур и уток к тому времени уже не было, и птичник давно стоял пустой, со сломанной дверкой на одной петле, и Багров знал, что никогда ее не подправит, впрочем, как и сам дом, постепенно приходящий в негодность, ибо никакого желания возвращаться в «родные пенаты» у него не было.

Багров любил свою размеренную городскую жизнь, любил ощущать твердость нагретого асфальта под ногами, обутыми в хорошие кожаные туфли. Любил завязывать краткосрочные, необременительные романы с красивыми холеными женщинами. Раньше в нем был силен дух здорового крестьянского рода, почитавшего только женщину-мать, с годами он стал ценить веселых, ярких женщин, у которых, по его словам, «в жилах вместо крови дорогое шампанское». О детях и не мечтал: вначале было не до того, а потом понял, что и не хочет – слишком хлопотным и рутинным казалось все, что связано с детьми.

Любил свою (наконец-то!) небольшую однокомнатную квартиру, где не было ничего лишнего: голые светлые стены, зеркала, металл, стеклянные полочки с книгами, прозрачные тюлевые занавески. Друзья – их у Багрова было немного – говорили, что квартира его похожа на операционную. Багров не возражал, считая, что лингвистика сродни геометрии и не терпит приблизительности и расплывчатости. А специалистом Багров был хорошим, одним из ведущих сотрудников Института языка при Академии Наук.

– Тот, кто любит нагромождение и хаос – пусть довольствуются литературоведением и алгеброй! – рубил он воздух рукой, и слушатели следили, как замороженные, за полетом сухой, красивой кисти с длинными пальцами. – А кому по душе стройность мысли и четкость формулировок – добро пожаловать в геометрию и лингвистику! Все!

Переспорить Багрова было невозможно, но редкие его гости соглашались, что он в чем-то прав. Ничто так не подчеркивало скрупулезности и почти хирургической точности его работы, как обилие отражающих поверхностей. Единственным теплым

пятном в его доме был, пожалуй, торшер чайного цвета. Именно под его мягким светом рождались строгие научные статьи, пересыпанные загадочными словами: эрратив, когезия, амфиболия, семантические поля, когнитивная лингвистика. В их звучании слышался плеск океанских волн – холодных и ритмичных.

Так чем же этот день – обыкновенный зимний с сероватым мягким снежком – так отличался от других, что Багров сразу угадал его необычность? Угадал не сердцем, даже не защемленным больным позвонком, а каким-то особым чутьем, словно внутри кто-то настойчиво гундел: «Нынче произойдет нечто особенное, сегодня, сегодня», и от дурацкого гундения этого становилось досадно.

Хорошо, что шофер был на редкость молчаливым человеком. Сегодня Багров был несказанно рад этому. Обычно он любил поговорить о том, о сем по дороге в институт, и шофер охотно беседовал с ним. Но сегодня тот был хмур, то и дело хватался за щеку, недовольно цыкал – видно, болел зуб. Доехали быстро и Багров отпустил его до завтра.

Неожиданность поджидала его в образе МНСа Жени. Тот бежал по коридору, и вся его фигура выражала радость:

– Дмитрий Григорьевич, тут вам письмо! Помните профессора Ландышева из Института геологии? Его вдова пишет, что хотела бы подарить некоторые вещи друзьям своего мужа.

У Багрова гулко забилося сердце. Старик Ландышев – добряк и умница, был первоклассным специалистом, начитанным, разносторонне развитым человеком. Знал несколько языков, в том числе и латынь, музицировал, собрал у себя в доме коллекцию минералов и шахматных досок.

Шахматы были единственной слабостью Багрова. Когда от лингвистических дебей начинала слегка кружиться голова, взгляд отдыхал на небольшом пространстве из черно-белых квадратиков. У Багрова было несколько видов шахмат – обыкновенных и сувенирных – фарфоровых, керамических, глиняных, деревянных, металлических, даже из черного и белого стекла – подарок коллег на 50-летие, но такого богатства, как у Ландышева, не было. Тот был настоящим фанатом древней игры, они с Багровым частенько разыгрывали партии. И всегда Багров испытывал застенчивую зависть и ревность собирателя – у Ландышева в коллекции было около двухсот тридцати шахмат – из черного, красного и розового дерева, палисандровые, самшитовые, из слоновой и моржовой кости, янтаря, китайского фарфора, чешского стекла. Были резные чугунные, плетеные из сосновых иголок и тростника, даже тюремные из хлеба. Был и настоящий раритет времен гражданской войны, где фигурки делились на «красных» и «белых». И сейчас Багров предвкушал, что вдова профессора подарит ему что-то ценное из коллекции мужа.

Ландышева как нельзя точно соответствовала своей фамилии. Маленькая, худенькая, с пушистым облачком белых волос и удивительно яркими зелеными глазами. И голос у нее был словно ландышевый колокольчик – высокий, мелодичный. Багров вспомнил ее мужа – добродушного увальня, похожего на плюшевого медведя, и улыбнулся. Даже походка у него была чуть косолапая и очень уютная.

– Заходите, Димочка, – приветливо улыбнулась женщина. – Сколько лет, сколько зим!

Слова ее отразились от хрустальной маленькой люстры, и та чуть слышно зазвенела.

Мария Игоревна Ландышева была, что называется, настоящей «мужней женой». Когда мужа спрашивали, почему она, подававшая прекрасные надежды в учебе, так и не стала работать, он отвечал, пряча улыбку в усах:

– Как не работает? Она на ниве служения мне пашет и пашет!

И это была правда. Жена – нелегкая профессия, но Мария Игоревна, видно, была специалистом от Бога. За всю свою пеструю жизнь Багров не видел столь органичного сочетания в одном человеке деликатности, доброжелательства и уюта. Душа дома, светлый огонек, она на все вопросы о секрете семейного счастья отвечала полушутливо:

– Никакого секрета нет. Просто надо делать так, чтобы муж хотел возвращаться после работы домой.

Багров осмотрелся. В большой комнате все было как при жизни профессора. Так же размеренно тикали часы с кукушкой, так же высился стол под золотистой скатертью, так же сидел на диване огромный игрушечный Арлекин в разноцветном, сто раз чиненом костюме. У Ландышевых было трое детей и пятеро внуков, и Арлекин был когда-то их общим любимцем. Но внуки выросли, оставалось дожидаться поколения правнуков, чтобы те по новому кругу принялись трепать клоунский наряд.

– Что вы стоите на пороге? – звонко протянула женщина. – Проходите, я оладий ванильных напекла. Таких вы никогда не ели, ручаюсь! Сейчас и чай подоспеет.

Оладьи действительно были легкие, как пух, и очень вкусные. Багров уписывал одну за другой, а Мария Игоревна журчала:

– Вы можете спросить, как это я раздариваю вещи мужа? Очень просто, Димочка, – мне уже тяжело жить прошлым. В этом доме прошла почти вся жизнь, каждая мелочь напоминает мне о нем, и мне трудно. Для памяти довольно двух-трех вещиц, нескольких статуэток, чашки, ложки, альбома с фотографиями, но когда весь дом превращается в мемориал – так это уже не живой дом, это не жизнь, а мечта Плюшкина. После меня дети раздарят или продадут весь этот антиквариат и правильно сделают. Нельзя жить все время прошлым – это повергает в депрессию, нельзя и будущим – это вселяет тревогу. Вот есть этот день, и снежок, и свежий воздух – и слава Богу. Вы молоды еще и ничем не связаны – может, и не поймете меня сейчас. Но поверьте, рано или поздно понимаешь, что ни к чему нельзя привязываться. Наверно, ни к чему...

Она вдруг погрустнела и добавила раздумчиво:

– Вы так и не женились... Простите, я никогда не задаю вопросов о личной жизни. Ну, что ж, это ваш выбор. Все изменилось, Димочка, свои взгляды никому не навязывай. Да и глупо это. А домик как же ваш в деревне?

– Продал, Мария Игоревна, своему же соседу продал, недорого, там уже рухлядь, а не дом был, – поморщился Багров. – Ни к чему он мне.

– А, ну да, да... Если так, то, конечно ...

Из часов выскочила кукушка, прокуковала пять раз и снова спряталась. Мария Игоревна поднялась:

– Я хотела подарить вам, Димочка, – она запнулась на секунду, – пятое издание словаря Даля 1935 года. Надеюсь, он вам пригодится в работе и останется в вашем доме на память, – прибавила она уверенно.

Женщина вышла в другую комнату и вынесла четыре толстых тома. Багров почувствовал досаду – словарь Даля в нескольких экземплярах и без того украшал его библиотеку. И рассчитывал он на один из редких образцов шахмат из профессорской коллекции. Но с дарительницей не поспоришь.

– Вот, – звонко проговорила она. – Уверена, что вы оцените это издание по достоинству. И всяческих успехов вам в работе. Вы большой труженик.

Багров поблагодарил, подхватил книги и вышел. Обещание неровного дня сбылось. Досада переполняла душу. Багрову казалось, что даже вороны подсмеиваются над ним: «Кар-р, кар-р! Р-р-раскатал губу? Р-р-раз-лакомился?»

Мария Игоревна неспеша подошла к окну. Зимний день погасал в фонарях, и его дрожащий сиреневый свет сменялся желтым электрическим светом. Она видела, как из парадной вышел Багров с тяжелым пакетом в руке. Вся его фигура и резкая, подпрыгивающая походка говорили, что он сильно не в духе.

Женщина улыбнулась и закусила губу. Ей было неловко признаться себе в том, что она впервые в жизни осознанно и вдохновенно соврала. В подарок Багрову предназначался тот самый раритет времен гражданской войны, где фарфоровые фигурки делились на красных и белых.

– И где моя хваленая стойкость? – произнесла она вслух. Вот тебе мемориал, вот тебе – «не привязывайся ни к чему»! Но как отдать дорогое в руки человеку, который вообще ничем не дорожит? Пусть уж лучше дети раздарят, а я не могу. Только зря побеспокоила человека.

День окончательно померк, и клочковатые тучи укрыли небо.

– Тучки небесные, вечные странники, – почти машинально произнесла Ландышева. – Вечно холодные, вечно свободные, нет у вас родины, нет вам изгнания.

Первые хлопья мокрого снега ударили в окно и через мгновение залепили его. Становилось холодно. Мария Игоревна представила себе, как Багров входит в свою комнату-операционную, ставит книги на стеклянную полку, садится в кресло и отчетливо поняла, что ему хорошо и комфортно. И что она, пожалуй, правильно сделала, не подарив ему старинные шахматы.

## **Слово о свекрови**

*Не ищите, не ждите возврата,  
Не смущайтесь насмешкою злой.  
Человечество все же богато  
Лишь порукой добра круговой.*

**Стихотворение безвестной монахини  
Новодевичьего монастыря**

Боже мой, какое счастье – тишина! Лиля никогда не думала, что эта мысль будет посещать ее все чаще. Она всегда была сгустком кипучей энергии, ее жизнь неслась в темпе «очень живо», частенько переходя в «presto» – стремительно. С годами это «частенько» исчезло, и жизнь тупо выплясывала какую-то бешеную тарантеллу. Лиля любила читать перед сном, ей нравился мягкий свет бра – подарка свекрови на свадьбу – с сетчатым фарфоровым плафоном. Он уже был поломан в нескольких местах; бирюзовый, с легкой позолотой рисунок почти стерся, но Лиля не решалась заменить его на новый. Близкие вначале уговаривали ее, твердя, что поломанные вещи в доме не держат, что это не к добру. Уговоры сменились насмешками и уверениями, что такие светильники освещали еще первобытные пещеры. Лиля парировала мягко и упорно. К вещам она привязана не была и, более того, опасалась такой привязанности, как признака старости, но к этому бра испытывала странное чувство – нечто среднее между болезненной слабостью и жалостью. Так обычно относятся к увечному или очень старому человеку в семье – сострадание пополам с нежностью.

Но в последнее время даже на эту нежность не оставалось сил. В бра все реже загорался свет – Лиля падала в кровать и мгновенно засыпала. И все больше жизнь казалась ей огромным унитазом, куда сливались без разбору ее будни и праздники, месяцы и годы. Даже собственное имя казалось ей уже слишком фривольным. Лиля, Лилечка, Лилея – так когда-то звали ее родители, когда Лиля была пухленькой ма-

лышкой с яркими щечками и смеющимися глазами. Круглые щечки превратились в две продольные скорбные складки, смеющиеся глаза стали напряженными, а лоб украсила сеточка морщин. Такая вот нехитрая геометрия была у природы, по большому счету ничего особенного, но весеннее имя Лиля как-то само собой сменилось солидным Лилия Константиновна. И солидной Лилии Константиновне все больше хотелось тишины и покоя, чтобы можно было просто вздохнуть и собраться с мыслями.

А поразмыслить было о чем. Как говорится, «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Лесом, конечно, Лилину жизнь не назовешь, все же дипломированный специалист, с двумя «вышками» – филолог и психолог, боец педагогического фронта, переводчик с трех языков, кандидат филологических наук, жена и мать. Три девочки – старшая 16-ти лет и десятилетние близняшки. И муж, четвертый ребенок, 52-х лет. С детьми долго не получалось, супруги почти потеряли надежду, но в 34 года Лилия родила первую, а через шесть лет еще двух.

Однако райским садом такую жизнь тоже сложно назвать. Оглянуться назад – можно сказать одной фразой: «глаза страшатся, а руки делают». Лилию подчас бросало в дрожь при воспоминании о середине девяностых, когда дети были маленькими, и они с мужем-инженером работали, как оглашенные, на двух работах, а вечерами Лилия со свекровью пекли сладкие кексы и пирожки с ливером и картошкой, чтобы к семи утра успеть отвезти их в буфет ближайшей школы. За выпечку директор школы платил им нормально, она разлеталась мгновенно, но труда и продуктов требовала немало. Лилия вспоминала, как она засыпала в начале четвертого, просыпалась в половине седьмого, сдавала выпечку в школу, бежала на работу, после работы на рынок, потом домой, и так все по кругу. Но усталости не было. На все были силы, находилось время и желание шить себе обновки, завивать кудри, носить каблуки и висячие серьги, успевать на выставки и концерты, танцевать и любить.

Девяностые миновали как спутанный сон.

Но по пробуждении Лилия обнаружила, что свекровь так и осталась во сне... Худощавая, тихая женщина с улыбающимися глазами...

Ничего общего с обывательским понятием «свекровь» как чего-то монстроподобного она не имела. Наоборот, осталась в памяти Лили воплощением деликатности и какой-то старинной изысканной интеллигентности. И дело было вовсе не в том, что свекровь знала в совершенстве французский и итальянский и была специалистом по искусству раннего Возрождения, то есть словно заведомо парила в эмпиреях. Во все не в этом. Просто свекровь обладала каким-то нутряным сознанием того, что делать можно, а что нельзя. Она никогда не входила в комнату внучек без стука, а если у тех собирались маленькие подружки, то вообще превращалась почти в тень. Осторожно постучится, невесомо пройдет к столу, поставит поднос с чаем и пирожками, приветливо улыбнется и так же невесомо растворится. На ошарашенное хлопанье глазами юного племени отвечала просто и кротко:

– Гостю честь и место. Если у тебя гости, так им надо внимание уделить, а не в кухне возиться. А мне нетрудно и приятно. Пирожки-то понравились?

Вопрос был излишним. Блюдо опустошалось молниеносно, а в глазах внучкиных подружек надолго застывало выражение изумления и тоскливой зависти: «Нам бы такую бабушку!»

Лилия не помнила, чтобы хоть раз к приходу после работы ее не ждал накрытый стол на кухне. Снедь была нехитрая – суп, котлетка с пюре или вермишелью, зелень. Но свекровь умела оформить это так, будто накрывала стол в Версале. Льняная серая скатерть с красной прошивкой, фарфоровые тарелки, салфетки. Свекровь не признавала клеенок, суп подавала, несмотря на все смешки и уговоры, только в супнице. Даже для горчицы у нее находилась пузатая фарфоровая баночка с крышечкой в виде головы льва.

– Мама, зачем все это? Зачем этот пафос, когда мы едим котлеты из кильки, даже курятина нам не по карману? – иногда срывался сын. – Тебе своих рук не жалко или Лилькиных, все эти скатерти-салфетки стирать?

– Будет день, будет и пища, – с улыбкой, но твердо отвечала мать и верилось: она знает что-то такое, для чего будут уместны и нарядная яркая скатерть и крахмальные салфетки, и фарфоровая посуда.

Со свекровью прозрачными и ясными становились неписанные правила житейского бытия. Именно она ненавязчиво учила Лилию, что идя в поликлинику или в какую-нибудь контору, хорошо бы захватить маленькую шоколадку для секретарши или регистраторши. «Тебе это не составит труда, а человеку приятно». Именно она просто объясняла, что при встрече с людьми надо улыбаться и непременно спрашивать, как у них дела, как дети, и участливо выслушивать ответы. «Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее».

На все возмущенные речи родных свекровь отвечала тихо, но твердо:

– Так меня учили. «Ничто так дешево не стоит и так дорого не ценится, как вежливость».

Фраза Сервантеса, растиражированная в любом хлебном магазине, звучала в устах свекрови искренне и легко. Щепетильность была ее забралом, внутренним стержнем и девизом.

Свекровь никогда не забывала дни рождения родственников и друзей. Каждая доживающая свой век бабулька могла быть уверена, что в забытый Богом и родными день рождения ее непременно поздравят. Неважно, что именинница или именинник зачастую сами не помнили о нем, а поздравление достигало их слуха и разума сквозь толщу старческих болячек. Суть была в том, что вспомнили, поздравили, и еще долго глаза стариков увлажнялись нечаянной радостью.

Лиля никогда не называла свекровь «мамой». Всегда по имени-отчеству – Анастасия Владимировна. Собственной матери она лишилась рано, у отца давно уже была другая семья, но Лиля крепко вбила себе в голову, что мать у человека может быть только одна. А свекровь ни разу не намекнула, не заметила невестке, что ей приятно было бы обращение «мама». Раз по имени-отчеству, значит, так тому и быть. Деликатность превыше всего.

Свекровь любила цветы. Весь балкон был уставлен вазонами и кадками. Между ними надо было маневрировать, это было утомительно, но свекровь ухаживала за своими зелеными питомцами трепетно, и они благодарили ее пышным цветением.

Больше всего любила она крупные королевские нарциссы с их ненавязчивым травяным ароматом и очень сокрушалась, что в день ее рождения, 14 декабря, они еще не цветут. Но сокрушалась как-то тоже тихо, деликатно – погладит узкой ладошкой проклюнувшиеся побеги в вазонах, вздохнет и все. А выгонку считала варварством – издевательством над природой. «Все должно быть вовремя, в свой срок, в свой час, тогда и тебе приятно, и живому не во вред», – приговаривала она.

– Ты присмотри за ним, – однажды тихо обратилась свекровь к Лиле и зеленоватые глаза ее, обычно улыбающиеся, стали печальными. Словно засветилось бирюзовое фарфоровое бра.

– За кем? – не поняла Лиля.

– За мужем своим, – кротко пояснила свекровь. – За моим сыном.

– А что такое? – недоумевала Лиля.

– Понимаешь, нет в нем ярости. Мужчина должен быть иногда яростным, страстным, бешеным. В разумных пределах, конечно, но должен. Я растила его одна, возможно, поэтому он такой...

– Какой?

В глазах свекрови мелькнула беспомощность.



– Ведомый. Не оставляй его, хорошо? Не возмущайся, я знаю, что ты скажешь. Но женщине слабость к лицу, она может быть ведомой, а мужчина нет. А у вас наоборот. У тебя всё получится, а он растеряется. Не оставляй его.

– Да куда я денусь, – попробовала отшутиться Лиля. – Анастасия Владимировна, с чего вы это?..

Но свекровь слабо махнула рукой и прикрыла глаза. Когда она вновь открыла их, выражение было обычным, улыбающимся.

Через неделю свекрови не стало. Муж плакал так, что Лиле отчетливо стало ясно – больше никто и никогда не будет любить и жалеть его так, как мама. Поняла она это сразу, без горечи и обиды. Со свекровью из их дома навсегда ушло что-то очень хрупкое, скромное и деликатное.

Поминки неожиданно выявили, как свекровь любили и уважали на работе. Пришла уйма бывших коллег и студентов, все говорили о глубоких знаниях и огромном человеческом даре Анастасии Владимировны – проявить участие к каждому.

– Золото, а не человек, – трубно сморкался необъятного размера мужчина, давний сослуживец свекрови. – Сейчас таких не делают. Сердце хрустальное...

... – Мам.. – пауза для воспоминаний была нарушена. На пороге стояла одна из близняшек. – А пожевать есть чего?

– Возьми в холодильнике, – машинально пробормотала Лиля. – Сыр, колбаса, овощи.

– Не хочу холодное, – скривилась дочь. – И без того зима.

– Сейчас разогрею котлеты, мой руки. – Лиля отправилась на кухню.

На стене висел календарь. Лиля улыбнулась. Еще одна память о свекрови. Она всегда запасалась такими календарями к Новому году. Находила особые, с репродукциями картин мастеров Возрождения, и на все протесты близких, мол, старомодно и выглядит нелепо в современном дизайне, отвечала:

– Ну это просто такая красота была, что я не могла пройти мимо. Посмотрите, какая печать, как хорошо переданы краски.

Сейчас эта традиция – вешать на стену календарь – осталась легкой горчинкой в памяти.

– Отстань! – сердито выкрикнула старшая одной из близняшек. – Не видишь, у меня настроения нет.

– А что такое? – съехидничала сестра. – Ах да, я забыла, сегодня же тринадцатое, правда, вторник!

– Тебе какое дело? – огрызнулась та. – Хоть среда!

«Значит, завтра четырнадцатое, – обожгло Лилю. – Надо бы на кладбище съездить».

Она разогрела котлеты, позвала детей ужинать. Старшая отказалась, вбила себе в голову, что ей надо худеть, и грызла яблоко. Муж дремал перед телевизором. Лиля осторожно тронула его за плечо.

– Завтра четырнадцатое. На кладбище заехать бы...

– Не смогу никак, дел по горло. – Муж помолчал минуту, будто что-то решая, и снова прибавил: – Нет, никак не получится. – И просительно заглянул ей в глаза: – Может, ты сама, а?.. И от меня цветы положи, пожалуйста. Я как-нибудь в другой раз. Мертвые ведь не обижаются? Ну, не могу я.

– Конечно, положу, – улыбнулась Лиля. – Конечно, не обижаются.

... Она несла в руках восемь маленьких белых гвоздик. Было холодно, Лиля прижимала цветы к пальто и старалась согреть дыханием, но они все равно заиндевели и напоминали испуганных балерин в кружевных пачках.

– Здравствуй, мама, – вдруг как-то само собой просто сказала женщина и опустилась перед небольшим серым камнем. – С днем рождения, – она положила цветы на землю и вздрогнула.

Из сизовато-седой от мороза каменной земли торчали стрелки королевских нарциссов. Луковицы высадили сразу после ухода свекрови, они расцветали, как положено, каждую весну, но чтобы сейчас, в декабре?! Лиля не верила собственным глазам. Но почти каждая темно-зеленая стрелка была увенчана победным тугим бутонем.

– Мама? – полувопросительно прошептала Лиля, и горло ее сжалось.

Солнце прорезало плотное мгlistое небо, несмело скользнуло по земле и легло на руку женщины.

В этот день впервые за много лет у Лили было спокойно на душе. Не то, чтобы тревоги отступили, они, кажется, были ей приписаны навечно, но появилось что-то такое, от чего верилось – все непременно будет хорошо, все исполнится в свой срок, в свой час.

– Положила цветы от меня? – голос мужа звучал виновато и устало.

Лиля оторвала взгляд от книги. Бирюзовое бра отбрасывало мягкую тень, и женщина даже поежилась от удовольствия. Боже, какое это удовольствие – читать перед сном в кровати.

– Да. Ты представляешь, у нее на могиле распускаются королевские нарциссы!

– Не может быть! В декабре?!

– А по-моему, ничего удивительного. Мама столько отдала нам тепла при жизни, что оно согрело даже землю.

– Мудришь ты что-то. Скажи еще – соблюдается закон сохранения энергии.

– Называй как хочешь. А по мне – просто круговая порука добра. Иначе и быть не могло. Мама знала об этом.

## **Мама, Чехов, и четыре достопримечательности**

*Я вижу все. Я все запоминаю,  
Любовно-кротко в сердце берегу.  
Лишь одного я никогда не знаю  
И даже вспомнить больше не могу.*

*Я не прошу ни мудрости, ни силы.  
О, только дайте греться у огня!*

**А.Ахматова**

Нашу улицу нельзя было назвать большой. Но нельзя было назвать и маленькой. Она не была особо выдающейся, и знаменитости на ней не жили. Но она не была и незаметной. Одним словом – среднестатистическая улица южного города, обсаженная тополями и вязами, пыльная, асфальтированная, поросшая бурьяном и репейником, и с домами в два ряда.

Примечательна улица была следующим: ржавой трубой, пересекавшей ее около магазина «Тысяча мелочей», рыжим котом Жоржем, с видом городского обходившего свои владения, бельевой веревкой, натянутой от окна третьего этажа дома № 55 к тополию напротив и самим магазином «Тысяча мелочей». Но о каждой примечательности по порядку.

Ржавая труба была на нашей улице с незапамятных времен. Вполне вероятно, что вначале притащили трубу, а потом вокруг нее проложили улицу и построили магазин. Тот, кто приволок этот уродливый обломок металла, был в своем роде творец. Железная Квазимода, украшенная по всему периметру и диаметру ржавыми бородавками, была очень живописна. А пыльные островки осота, вросшие в нее, придавали ей изысканно древний вид.

Изначальные функции трубы оставались загадкой. Некоторые старожилы говорили, что когда-то это была водопроводная конструкция, другие – что канализационная. Третьи, почему-то понизив голос, вообще утверждали, что этот уродец ничто иное, как обломок немецкого самолета, сбитого хромым Гасаном. И что хромой Гасан, вернувшись с фронта, захватил и его с собой в качестве трофея. При этом никто не сообщал, зачем это Гасану понадобилось, и, самое главное, как он дотащил до дома ржавый символ поверженного фашизма? А спросить было не у кого, ибо Гасан вот уже лет сорок, как отошел в мир иной. Как бы то ни было, с трубой наша улица дышала очарованием старины. Это наполняло нас гордостью. Не у каждого была такая металло-архитектурная достопримечательность.

Рыжий кот Жорж родился во вполне интеллигентной семье бывшей балерины Майи Кудриной от домашней кошки Саломеи и домашнего кота Варлаама. Помимо родителей, Жорж с младенчества обладал добрым десятком братьев, сестер, тетей, дядей и племянников. Родоначальником пушистого клана были дедушка и бабушка Жоржа. В отличие от своих потомков, они именовались просто – Мурка и Васька. Майя взяла их с улицы и позволила основать колонию. Несмотря на суровое спартанское детство, Мурка и Васька быстро освоились в квартире бездетной балерины. Ко времени смерти старушки по ее дому бегало больше тридцати котов. Воздуха в округе это не озонировало. Новые жильцы быстро разогнали мохнатую братию: кого-то взяли сердобольные знакомые и друзья, кто-то просто сбежал. Но Жорж оставался верен своей улице, и жители привыкли к его массивной фигуре, степенно фланирующей вдоль тротуара. Жалкие остатки еды он не брал, а требовал полноценного обеда – супа, кусочков мяса или рыбы. При этом вид у него был явно разочарованный: «Что ж вы, люди, делаете, а? Я же мзду не беру, мне за державу обидно!» Надо сказать, что жильцы уважали хвостатого таможенника и поддерживали честь державы, то есть, улицы. Жорж никогда не голодал и лоснился год от году все больше.

Бельевая веревка, натянутая от окна третьего этажа дома № 55 к тополю напротив, сама по себе никакой ценности не представляла. Обыкновенная серая веревка с витой нитью для прочности. Но вот белье, вывешиваемое на ней... Тоже, в принципе, заурядное, кроме оранжевых панталон с черными кружевами.

О!!! Эти проклятые панталоны будили непристойные мысли и принадлежали Лизе Мельник – даме необъятных размеров и большой души. В отличие от трубы, происхождение панталон сомнений не вызывало – они были трофейными, немецкими, и их привез Лизе муж. К счастью, габариты Лизы за долгие годы не изменились – мощная и широкая в кости, она стойко оставалась в привычном весе. Панталоны были сделаны на совесть и явно не без участия дьявола – они не выцветали, не рвались и не усаживались от частой стирки. Вечная молодость панталон вкупе с неизменными габаритами Лизы могла бы навеять мысли о некоем портрете Дориана Грея, но на нашей улице тогда и слухом не слыхивали об Оскаре Уайльде. Зато когда оранжевый стяг с черными кокетливыми кружевами эротически-победно развеялся на уровне третьего этажа дома № 55, в соседних квартирах разом издавался завистливый женский вздох и начинался традиционный пилёж:

– У других мужья как мужья, своих жен как куколок одевают, а у меня чурбан чурбаном, пентюх пентюхом, нюня нюней (определений никчемности было много). Лучше бы мать моя вместо меня черный камень родила! Чем я провинилась перед тобой, Господи, что колода Лиза как королева одевается, а я как чернушка?

Мужья реагировали на это вяло:

– Извини, на войне не был, и миллионы не режу! А у спекулянтов покупать ничего не буду!

– Конечно, мы же бедные, но честные! Зато жена и дети пусть в отрепьях ходят!

– Хватит, женщина! Занимайся своими делами!

– Зачем я только замуж выходила, дурья моя башка?!

На это мужа синхронно разводили руками, мол, сама подтверждаешь, а я этого не говорил!

Ну и, наконец, магазин «Тысяча мелочей». Последняя и самая яркая достопримечательность нашей улицы.

В общем-то, в самом магазине ничего примечательного не было. Обыкновенный набор хозяйственных принадлежностей: гвозди, крючки, кастрюльки, стаканы, коврики для ванной и прихожей, кашпо для цветов, шланги, средства для чистки мебели, ведра, термосы, а в другой стороне – почему-то картошка, капуста и зелень. Жильцы вначале дивились странному набору товаров, но потом свыклись.

Заведовал всем этим богатством Лев Захарович. Большого оригинала трудно было найти. Он был продавцом и главным украшением магазина.

Забежишь к нему, бывало, утром:

– Лев Захарович, мне бы картошки килограмма два.

– Какой? – с деланным безразличием вопрошает Лев Захарович, но лысина предательски наливается кровью.

– Как какой? Картошки просто!!!

– Я не глухой! Тебя мама не учила не кричать, особенно на старших? Какой картошки, я спрашиваю? Для чего?

– ?!!

– Боже мой! – Лев Захарович всплескивал коротенькими ручками. – Боже мой! Что вырастет из этого ребенка, я тебя спрашиваю? Он даже не знает, какая картошка ему нужна! Как он будет помогать родителям, каким он будет хозяином? Ничему не учат детей, только собой занимаются. Беги, спроси у мамы, для чего ей нужна картошка?

Мама реагировала не менее бурно.

– Что он умничают? Тоже мне – старый болтун! Скажи, для супа!

Услышав ответ, Лев Захарович медленно остывал.

– Ну, хоть какая-то определенность! Запомни, деточка (в хорошем расположении духа он всех называл деточками), белая картошка для супа, она аккуратная и не разваливается. Если для пюре, нужны желтые сорта – они рассыпчатые и пюре будет красивым и воздушным. А вот если хочешь жареную, тогда непременно розовую. В ней много декстрина – картошечка будет с румяной корочкой, целенькая, да еще с луком и на сливочном масле – это еда богов!

Он складывал пальцы щепотью, подносил их ко рту и причмокивал. И по лицу его, словно лучи от солнца, во все стороны шли морщины.

Та же участь ждала и капусту. Не дай Бог было не определить, для чего она нужна – для борща или голубцов. Лев Захарович приходил в отчаяние!

– Запомни, пока я жив, потому как ваши родители жизни, я смотрю, вообще вас не учат: плотные, сочные кочаны на борщ, чтобы наваристее был, а вот легкую, пустую капусту на голубцы, чтобы «раздевать» было легко, и листья бы не поломались. Запомни, все в жизни пригодится!

Окончательно приходя в благодушное настроение, Лев Захарович усаживался на табурет с лоскутной подушкой и начинал разговоры «за жизнь».

Они были пестрые и так беспорядочно перескакивали с темы на тему, что казалось, будто кружишься на огромной карусели и на ходу пересаживаешься с оленя на лошадь, а потом снова на оленя. Познания у Льва Захаровича были огромные, но

совершенно бессистемные.

Разговор рождался со... вздохов. Вначале редких, потом, как капли дождя, учащавшихся. Повздыхав вволю, Лев Захарович останавливал свой взгляд на рисунке какой-нибудь чашки. Это, к примеру, мог быть греческий узор из ломаных линий. Глаза старика оживлялись.

– Древняя Греция, прекрасная Эллада, – произносил он единым духом. – Родина философов и поэтов. Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Ты мифы в школе изучаешь? И какой самый любимый? Боже, у этого ребенка нет даже любимого древнегреческого мифа! Эти дети неучи! Господи, куда ты смотришь?! А миф о Дедале и Икаре? Тоже не слышал? Боже, вложи в голову этим детям хоть каплю ума!

Продолжая ворчать и сокрушаться, Лев Захарович рассказывал нам миф за мифом. Герои и боги оживали в его пересказах. Эгейское море шумело и переливалось всеми красками, нимфы плясали на берегу, а скромный продавец «Тысячи мелочей» предстал новым Гомером. Рассказы Льва Захаровича были куда интереснее школьных уроков истории! Но волшебство разом прерывалось, если вдруг, к примеру, начинал накрапывать дождь. Прекрасная Эллада гасла в надвигающихся тучах, и Лев Захарович перескакивал на тему о круговороте воды в природе и свойствах дождевых осадков. А далее перечислялись виды дождя и примет, с ним связанных.

Если после дождя в воздухе пахло нагретой пылью от асфальта, то мгновенно заводился разговор о происхождении пыли как таковой. Если ветер доносил легкий запах прели и грибов, то на два часа был гарантирован феерический рассказ о грибах.

Лев Захарович мог говорить обо всем: музыке, вине, живописи, литературе, географии, физике, керамике, выделке кожи, звездах и лечебной физкультуре. От него мы узнали, что такое гляциология и глиптика. Все было изумительно интересно и беспорядочно. Одновременно с рассказами Лев Захарович умудрялся еще и отпускать товар и яростно просвещать необразованных покупателей. Его любили и не мыслили улицы без него.

В подсобной комнате у Льва Захаровича было множество неожиданных вещей. Помимо ведер с отбитой эмалью, рыболовных крючков, сеток для москитов, ящиков с гвоздями и разнокалиберных кранов, на стене красовалась «Лунная ночь на Днепре» Куинджи, а пыльный стол украшал портрет Чехова. Краны и трубы валялись на столе тоже, отчего казалось, что портрет окружают замороженные жестяные змеи.

Любой смертный, допущенный в эту пещеру Али-Бабы, застывал на пороге и, обретя наконец дар речи, спрашивал, к чему же портрет Чехова и «Лунная ночь»? Лев Захарович словно предвкушал этот вопрос! Ему было наслаждением отвечать на него! Он глубоко вздыхал, распускал морщинки-лучики на лице и начинал вещать!

– Вы спрашиваете, почему у меня среди этого бедлама Куинджи и Чехов? Я бы мог вам ответить стихами Вознесенского «Небом единым жив человек!» Но я не буду этого делать. А почему? Спросите меня – почему?!

– Почему?

– Потому что это и так ясно! Это как дважды два – четыре! Не хлебом единым человек, но и хлебом тоже. Не небом единым жив человек, но и небом тоже! Вся наша жизнь – канатная веревка, по которой мы балансируем между дольным и горним. И надо удержаться на этой веревке между физикой и метафизикой, тогда ты – гармоничный человек. Вы понимаете меня? Впрочем, это неважно, потом поймете.

Понять было нелегко, но мы согласны кивали, что, да, мол, потом уразумеем!

Такие речи продолжались минут двадцать. После чего Лев Захарович уставал и начинал говорить тише, будто вглядывался на дно души. И речь его менялась, становилась проще и задушевнее, исчезало все выпященное.

– Моя мама была святая женщина. Берегите мам, дети, вторых мам не будет никогда. Только я не понимал, что она святая. А сейчас понимаю и мне стыдно. Она в

29 лет осталась с тремя маленькими детьми на руках. Отца не стало еще до войны. А нас у мамы пятеро было, но двое умерли в младенчестве. И вот остались мы у нее – я, брат младший и сестра. Я у нее был любимчиком, она всегда меня больше жалела, Львеночком рыжим и солнышком называла. Это я сейчас лысый, а раньше был рыжим, волосы густые, кудрявые! Эх...

А сколько ее сватали после отца, мамочку мою. А что не сватать: и красавица, коса в руку толщиной, глаза как огонь, а талия тоненькая, и это после пяти детей! И работница – золотые руки. Все в доме делала сама, любое дело спорилось. А я в штыки встречал, когда кто-то к нам свататься приходил. Мама из-за меня всем отказывала. Так замуж и не вышла. А сейчас я жалею, Бог мой, как жалею! Она ведь молодая была, жить бы да радоваться! А всю себя в нас вбила, так и состарилась. А что мы? Разлетелись каждый в свою жизнь, меня вот вообще в другой город, сюда занесло. А мамочка в семье сестры доживала. А при зяте какое житье? Да еще если и его мама с ними вместе живет? Вот и получается, что мамочка моя ни одного дня не пожила как душе хочется.

Лев Захарович замолчал и теребил уголок грязного платка.

– А когда отдыхала, любила смотреть на эту картину, – продолжал он и взмахивал рукой на стену. – Нашла в каком-то журнале, поставила за стеклом и все наглядеться не могла. Бумага журнальная совсем истрепалась, выцвела, а она не разрешала никому дотрагиваться. Это я уже потом купил хорошую репродукцию и вставил в рамку.

А Чехов? Это, считайте, ему я обязан всем, что знаю. Только Антон Павлович здесь как бы ни при чем. Все мама. Она хоть и грамотная была, но просила, чтобы ей читали вслух. Да и то сказать, когда ей было читать: все время в работе, дома дела не кончаются.

И очень любила рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Уже наизусть его знала, а все равно, затаив дыхание, слушала. И всякий раз нам повторяла: «Вот, смотрите, как человек только под старость понял, что всю жизнь прожил в убытках. Никому доброго слова не сказал, жену истязал, попрекал куском хлеба, даже чай пить запретил, потому что считал – чай дорогой, и пила жена только горячую воду. А сам пил горькую, скандалил, кидался на всех с кулаками, а жизнь так и прошла, и ничего уже не поправишь, и так много потеряно. А все потому, что человек делает не то, что нужно. Вместо того, чтобы сказать другому доброе слово, норовит обидеть, обмануть. Вместо того, чтобы учиться и приносить пользу, мусолит злые сплетни, ненавидит и злится. Кому нужна такая жизнь? Одни сплошные убытки. Вот живите так, чтобы у вас их не было».

И так часто она нам это повторяла, что я понял: «А ведь правда, есть потери, которые ничем не поправишь».

Мы – народ практичный, добро на ветер швырять не привыкли. Так зачем я буду трепать свое сердце на злобу и ненависть, если можно его с пользой употребить? Зачем мне пустота и темнота, если я могу зажечь свет в храме своей души? – снова съезжал на выспренный тон Лев Захарович. – Зачем мне глупые разговоры, если всякий раз можно узнать что-то новое? Я вас спрашиваю – зачем? Есть в этом какой-то смысл? Нет?! А зачем же тратить свое время на бессмыслицу?! Никакой экономики в этом я не вижу! Нет, вы мне возразите, если имеете что возразить! Я рад вас выслушать. Но если не имеете, так сидите и слушайте старого человека, который все ж таки что-то понял в этой жизни!

Лев Захарович расходился не на шутку, и здесь надо было поймать тот нужный момент, когда он еще не дошел до стадии кипения. Именно в этот момент надо было вставить робкое «Простите, Лев Захарович, мама ждет» и ретироваться. Слово «мама» было для него священным, он сразу же обмякал и торопливо говорил: «Да, беги, беги, что же ты раньше не сказал? Мама же волнуется! Вот я старый осел!».



Но если точка кипения была пройдена, то никакая мама не помогала. Лев Захарович произносил свои филиппики о том, что ученье – свет, а неученье – тьма с таким пылом и жаром, что сам Цицерон ему в подметки не годился! Тут уже не то, что фразу вставить, пискнуть бы не получилось! Старик блистал красноречием и пауз в речи не допускал.

– Память человеческая как затонувшая Атлантида, – гремел он и был похож в эти минуты на библейского Саваофа, – все глубоко, под толщей лет, и все живо, стоит только взглянуть получше...

...Мы вспомнили эти слова, когда наша улица с ее четырьмя достопримечательностями тоже стала затонувшей Атлантидой. Глубоко-глубоко на дне нашей памяти или любви колыхалась она. Робко всплывала в наших снах в предрассветные часы так ясно, так живо. Наша родная улица с ржавой трубой, пересекавшей ее около магазина «Тысяча мелочей», рыжим котом Жоржем, бельевой веревкой с пикантным трофеем и самим магазином «Тысяча мелочей».

И бессменным его продавцом Львом Захаровичем, влюбленным в Чехова и Куинджи и научившего нас не размениваться на убытки в этой жизни.

«Потому как убытки – зряшное дело, никакой экономии в этом нет и быть не может...»

## **Руфа**

(Цикл «Встречи»)

*Деревянный перрон нас угрюмо встречает,  
Почернели дома от прошедших времен;  
Мое сердце о прошлом, увы, не скучает,  
Мне о нем лишь напомнит этот старый перрон.*

**Елена Маркштедтер**

В больших и красивых городах есть, как правило, большие и красивые железнодорожные вокзалы. Большим городам как-то зазорно их не иметь.

Может быть, в далеком прошлом они были маленькими и неказистыми, с деревянными перронами, с обшарпанными скамейками в зале ожидания, с чахлыми геранями в ржавых ведрах, с угрюмыми и неразговорчивыми кассиршами. Ну так прошлое тем и хорошо, что оно уже прошлое, и по мере того, как расцветает город, хорошеет и железнодорожный вокзал. Вокзал – это вроде бы лицо города, а за лицом надо ухаживать!

И вот уже деревянные настилы сменились гладким асфальтом, а кое-где и мраморными плитами. Засияли огни маленьких магазинов – все к твоим услугам, пассажир, все, что душе угодно, покупай у нас! И быстро, и удобно! Ну, немножко переплатишь, так ведь за комфорт всегда платить надо!

Повсюду на вокзале бронзовые статуи, олицетворяющие железнодорожника. Проводница с флажком, проводник с фонарем, носильщик с тележкой. Бронзовые лица их суровы, губы сжаты, и взгляды у всех поголовно устремлены вдаль, в светлое железнодорожное будущее.

Обшарпанные скамейки сменились новыми, кованными. На них даже присесть опасаясь – такой респектабельный у них вид! Чахлые герани исчезли, и на их месте появилась дорогущая заморская флора – диффенбахия, драцена, монстера. От одних названий бросает в дрожь!

Угрюмых усталых кассирш сменили тоненькие девушки. Боже – мечта, а не девушки! Стройные, ладные, форма на них сидит идеально, прическа – волосок к волоску, ресницы хлоп-хлоп! – и на губах всегда дежурная улыбка! И сами поезда изменились! Вместо однотипных голубых и зеленых появились нарядные светло-серые, оранжевые, красные и даже фиолетовые.

И только одно не изменилось. Только одно роднит прошлое и настоящее вокзала! Запах! Неистребимый и вечный запах железнодорожного полотна, он пропитывает все вокруг, им пахнут кассы и сами кассирши, скамейки, носильщики, бронзовые памятники и цветочные горшки. Что там горшки! Сами цветы, и даже пирожки и кофе в буфете тоже пахнут поездом. И представьте – есть граждане, кому это очень нравится! Да-да! Они с наслаждением вдыхают этот воздух, они смакуют его как дорогое вино. Для них это не запах нагретого железа и машинного масла, это запах Дороги, а может, и самой жизни. Так ведь наша жизнь и есть дорога.

Если прийти на наш вокзал примерно к семи утра, то можно застать прелюбопытнейшую картину. С северо-восточной стороны, от угла магазина «В добрый путь» появляется грузная женская фигура. Солнце светит ей в спину, солнце будто играет с ней в мячик, но, похоже, женщине это нравится. Она неспеша пересекает привокзальную площадь, переваливаясь, подходит ко второй скамейке у первой платформы и, шумно вздыхая, опускается на сиденье. Каждый божий день с конца апреля и по середину октября, с утра и до темноты она восседает на второй скамейке, встречая и провожая поезда. Лицо ее задубело от солнца и ветра, и она похожа на бронзовые вокзальные статуи.

Все работники вокзала давно к ней привыкли и не обращают на нее внимания. Наоборот, если вдруг она запаздывает, то встревоженно спрашивают друг у друга: «Интересно, где Руфа?» и успокаиваются, услышав шаркающие шаги. Для железнодорожников Руфа – своего рода талисман. И только уборщицы радуются, не застав Руфы на месте. Они жалуются, что мимо нее пройти невозможно, а после нее долго и брезгливо оттирают скамейку хлором. Уборщицкая гвардия, пожалуй, единственная, кто принципиально не здоровается с Руфой, и она платит им тем же, в упор не замечая их тряпок, швабр и прочей клининг-амуницию.

Если не боитесь тяжелого запаха, действительно исходящего от Руфы, то познакомимся с ней поближе. Порой и в грязи можно отыскать что-то ценное. Если, конечно, набраться терпения и всмотреться пристальнее.

Вначале как бы невзначай присядем на скамейку неподалеку от нее. Не рядом (это трудно выдержать), но и не в отдалении. Руфа очень чутка на проявление деликатности. Если присесть на другом конце скамейки, Руфа смерит вас презрительным взглядом и на все ваши вопросы будет отвечать кивками или мотанием головы. Сесть надо на безопасном расстоянии, примерно в 30 сантиметров и незаметно окинуть ее взглядом.

Она толста и безобразна до обаяния. На темном лице ее безмятежность. Так, наверно, выглядел бы среднеупитанный бегемот, только что вылезший из илистой лужи. Руфа из лужи не вылезает, но ее одежда лоснится от жира и грязи. Впрочем, и одеждой это назвать трудно. Нечто, вроде живописных лохмотьев. Растянутая шерстяная кофта, халат, когда-то бывший синим, но сейчас потерявший всякий цвет, под ним почему-то тельняшка. На ногах спортивные брюки, обрезанные ниже колен. Кромка их махрится и кажется, что Руфа щеголяет оригинальными панталонами. Распухшие фиолетовые ноги в разрезанных по бокам туфлях. Руки изуродованы артритом. Запах от нее сложный – нефти, прогорклого сала, немывтого тела, мочи и старости. Бронзовое лицо неподвижно и напоминает чеканку. На нем живут только глаза – выцветшие, бирюзовые. Но взгляд их цепок и прожигает собеседника насквозь.

Первая проверка: Руфа слушает, как с ней здороваются. Поздороваться надо вежливо и доброжелательно. Вы очень рады ее видеть, так покажите ей это! Руфа

оценит вашу деликатность и благородство! Наградой будет усмешка в углах запекшихся губ, заинтересованность во взгляде и плохо различимый сип: «Здравствуйте. Пришли познакомиться с местной достопримечательностью?!» Руфа знает себе цену!

– Оф-ф-ф! – звучит прелюдия к монологу. – У-ф-ф! Жарко! (*независимо от времени года.*) Меня тут все знают. Вокзал – мой дом, но живу я тут поблизости, во-он там. – Она делает широкий взмах рукой куда-то назад. Там еще теснятся старые постройки с винтовой системой лестниц – итальянские дворы. – Как-нибудь приглашу вас (*не смейте отнекиваться – смертельная обида!*), увидите, как живет старый человек. У меня все есть. Софа, стол, холодильник, даже ковер есть – что мне еще нужно? Дай Бог всякому! (*сохраняйте серьезное выражение лица – за вами пристально следят!*) Я и родилась тут и меня в честь артистки какой-то назвали Руфиной<sup>1</sup>, но все с детства Руфой звали. Родители мои на железной дороге служили, папа машинистом, а мама проводницей, и всю жизнь помню только ту-тук, ту-тук, ту-тук, ту-у-у! Поезда идут туда-сюда. Хорошо!

Из горла ее вырывается что-то, похожее на карканье, и во рту желтеют пеньки зубов. Она смеется. В глазах бирюзовых глаз появляются слезы и исчезают в складках лица.

– Я в детстве была чудесным ребенком, – продолжает она, отдышавшись. – Меня украли воры, подменили, вот я и стала такой безобразной. А на самом деле я красивая, очень красивая. У меня волосы были как светлый шелк, кожа – как бархат, глаза – как небо.

Это очень опасный момент! Не вздумайте улыбаться, недоумевать, и храни вас Бог отсесть или отодвинуться! Лучше посокрушайтесь о злодейке-судьбе, превратившей ангелоподобного ребенка в Руфу. А еще лучше начните убеждать Руфу, что она вовсе не безобразна. Она оценит это!

– Не могу дома. Там все давит! Папин портрет, мамин портрет. В альбом смотрю – все покойники. Никого в живых нет. Только я осталась. А уехать тоже не могу. Это дом мой, я к нему привыкла. Садик весь малиной зарос, она сухая, корявая, ягод не дает, а вырубить ее не могу. Она как я – тоже старая и скрипит, будто плачет, чтобы ее не трогали. У меня кости болят, и у нее ветки тоже болят. Малина – как человек, жалуется, скрипит, а старых и больных никто не любит, надоедают.

Руфа делает глубокий вздох. Мимо снуют отъезжающие, провожающие, приехавшие, перекрикиваются носильщики, смеются проводницы. Солнце разгорается ярче, и Руфа вытягивает больные ноги. Зрелище неэстетичное; фиолетовая кожа с набухшими венами того и гляди лопнет, но женщина сладко морщится. Видно, что тепло и свет приносят ей облегчение.

– Вам к врачу надо, – осторожно киваете вы на ее ноги. – Это ведь нехорошо.

– Я сюда прихожу поезда слушать. – продолжает она, словно очнувшись от оцепенения и не обращая внимания на ваши слова. – Все одинаково, а мне не надоедает. Я люблю наблюдать за людьми... Провожающие что-то кричат тем, кто уезжает, напоминают, не забыл ли что. А тот, кто уезжает, проходит по коридору и – быстро к окну, чтобы помахать рукой тем, кто стоит на перроне. Это уже обычай. Сначала просто машут рукой и улыбаются. Потом уже тот, кто уезжает, машет рукой и просит провожающих уйти. А они не уходят, стоят, пока поезд не двинется. И уже когда двинется, они еще быстро идут за поездом и машут тому, кто в нем. А потом поезд набирает ход, они отстают и медленно уходят. И если смотреть за этим со стороны, то кажется, будто все эти люди танцуют. Вот так, каждый день один и тот же танец, только поезда и люди разные, а танец одинаковый.

А тот, кто едет в поезде, у него уже начинается другая жизнь. Он знакомится с попутчиками, предлагает им свою еду, и они тоже разложат свои припасы. Они выпьют, закусят, будут рассказывать друг другу разные истории из жизни. И очень до-

<sup>1</sup> Очевидно, имеется в виду актриса театра и кино Руфина Нифонтова.

вольные новым знакомством, лягут спать, чтобы проснуться и выйти на своей остановке или ехать дальше.

Вы слушаете, пытаетесь понять, к чему она клонит. К чему этот монолог неопрятной полубезумной женщины? Вы уже жалеете, что подсели к ней на скамейку. Но она продолжает, и глаза ее становятся тусклыми, как у сивиллы.

– И человек едет и едет. Почти все попутчики, с которыми ему было хорошо и весело, сошли на своих станциях, а он едет. И новые люди заходят в вагон, но с ними он никак не может подружиться. Он смотрит в окно и думает: «Вот поезд несется, станции мелькают, везде яркие огни, жизнь бурлит, а я все никак не приеду. Какая длинная дорога!» И ему очень хочется выйти, он устал, ему надоело трястись в вагоне. Но уже скоро его станция и он продолжает ехать.

И вот, наконец, поезд сбавляет ход, мигают огни станции, и человек понимает, что ему выходить. Он радуется: слава Богу, что трудное путешествие позади, он берет свой багаж, выходит на перрон и вдруг понимает, что ему жалко расставаться с вагоном. Как-никак, он так долго в нем ехал и успел привыкнуть к нему. И теперь он даже думает: а может, поехать дальше? Но кто ему разрешит? У него ведь билет до этой станции. Никому нельзя ехать дальше своей станции. И на него уже кричит проводник, чтобы не задерживал состав. А потом он видит, что пришли его встречать, и окончательно покидает поезд. Кар-р-р!

И Руфа, каркая, смеется, откидывается на спинку скамейки и замолкает.

Глаза ее закрыты, и теперь она действительно напоминает мифическое существо: лицом – птицу, телом – зверя. Вам не по себе. Вы осторожно встаете и тихо уходите.

На душе у вас скверно, но вы во власти ее непонятого обаяния. Вам кажется, что Руфа знает больше и видит дальше, чем обыкновенные люди, но странен и темен ее язык. Вы клянете себя за то, что завели с ней разговор, но в мыслях все время возвращаетесь к нему.

– А, поговорили с нашей Руфой? – спрашивает вас добродушный носильщик. На его тележке размашисто намалевана цифра 1, и, судя по всему, он гордится своим первым номером! Пока поездов нет, он отдыхает и не прочь поболтать. – Не обращайтесь на нее внимания. Это наша вокзальная блаженная. Грязная, это правда. Но зла от нее никто никогда не видел. Ее родители тоже железнодорожниками были. Хорошие люди, только детей долго не было, потом дочка родилась, но очень тяжело. Что-то повредили ей, и вот она такой и осталась. Но ее никто не трогает, помогают, кормят. Только заставить не можем переодеться и искупаться. Новые вещи даем, они через неделю у нее как тряпки становятся. И лечиться не хочет. Наши уборщицы ворчат, но Руфу не тронут. Вся жизнь ее здесь прошла. А когда придет время – всем вокзалом проводим в последний путь, как полагается.

И я вам скажу, пока она здесь, ни разу не было, чтобы поезд опоздал или пришел не вовремя, или бы рейс отменили. Все поезда – ночные, дневные – все четко приходят, по часам. А когда ее нет, то что-то все равно случается. Все на нервах. Поэтому, как в апреле она появляется, все радуются. Кроме уборщиц, конечно. Но что уж поделаешь...

*Какие-либо совпадения с героями или местностью являются случайными.*

---

## **ВЕРА ВЕЛИХАНОВА**

### ***Скрижали***

Все строчки сбились с ног –  
И в панике бежали.  
Дарован мне был код  
На каменных скрижалях.

Где робкие слова  
Становятся прозреньем,  
И дни, сгорев дотла,  
Сжимаются в мгновенья.

Бесмысленный итог  
Не кажется конечным,  
А жизнь – всего лишь срок  
Меж суетным и вечным.

О, вязкая смола  
Овеществленных смыслов!  
Как вправить их в слова  
Янтарной каплей мысли?..

Короткий мой ночлег  
Длиной в стихотворенье.  
Священный оберег –  
Иль камень преткновенья?..

Проклятье или дар,  
Награда или бремя –  
В бессрочный календарь  
Спрессованное время?

Где жизнь как краткий день,  
А ночь длинней столетий,  
Где слиты свет и тень  
В преддверии бессмертья...

Греховный код вины –  
Отчаянье свободы.  
Все десять тяжелы  
Как каменные своды.

Вишу на волоске  
Над острием кинжала,  
Чтоб высечь суть в строке  
На огненных скрижалях.

## **Висельник**

Я – висельник,  
нервом обугленным к небу подвешенный...  
Я – висельник!  
Даром, что создал Господь меня женщиной!

Вороны – тучей,  
и тишина до бескрайности.  
Бьюсь, как в падучей –  
лучше камнями,  
но только не жалостью!..  
Метким ударом,  
а после – коротким выстрелом,  
щедрой отравой –  
добейте! –  
отточенной истиной!

Лязгают цепи, ржавчиной  
сжирая крепкие звенья.  
Страх, ветром подхваченный,  
веет оцепенением...

Я – висельник,  
призраком ночи в ваши дрожащие стены!  
Эхо грохочет:  
гореть мне в геенне!..  
Вкрадчивой поступью властного тлена  
слышится хохот и кашель гиены.  
Огненной плазмой  
слепит мне глазницы,  
руки повисли –  
бескрылые птицы.  
До горизонта, до неба, до края  
жуткий закат,  
как костер, догорает...

Я – висельник!  
К небу –  
за горло –  
порывами ветра!  
Висельник!..  
Тьму презиравшая в чаянье Света –  
круг восхожденья  
безжалостно прерван:  
вздернута в небо  
надорванным нервом!



## **Опять Ангел**

Сдираю с ресниц рассвет  
Как бледную ленту скотча.  
Наручником хищным браслет  
Впивается в оболочку.

Ночь разлилась у плеча,  
Чернилами плачут строчки...  
Ухмылкой палача  
Финал мой опять отсрочен.

Дуло дрожит у виска.  
Ангел?!.. Авань, не промажет...  
Давай раздавим вискарь,  
А после – контрольным.  
Дважды.

В белом проеме стены  
Контур обугленных крыльев.  
Свет – вперехлест темноты,  
Бликом, затянутым пылью...

Утром – привычный расклад.  
(Риз перелив – лишь обманка...)  
Будни колодою карт,  
В дверь –  
запыхавшийся Ангел.

## **Вечер**

Без немногого Осень.  
Ожидание  
листопада.  
Мир печалью заносит.  
Расставание  
безоглядно.  
Без пятнадцати поздно.  
Колыбельная  
не допета.  
Акварельная звездность,  
стынут бледные  
краски неба.  
Без пяти минут вечность.  
Настроение –  
сумрак ночи.  
В расписание – не встреча...  
И забвение –  
парой строчек...

## **Юный поэт**

Девочка, Эвелин, будь же со мною немножечко проще...  
Да, я любимец небес, но не глашатай на площади.  
Я влюблен в твой ликующий смех и худые ключицы –  
это лучшее из того,  
что должно и смогло случиться.

В этих узких зрачках затаившейся рыси под выстрелом  
я отражаюсь миллионами слов, разбросанных брызгами.  
Мы не нужны богам. И они нас, увы, не слышат...  
Ну, а пока –  
солнце бьет по глазам и покатым крышам.

Моя девочка, Эвелин, не плачь, что забуду:  
участь Поэта, увы, тяжела – жить предчувствием чуда.  
А пока наслаждайся закатом и запахом лета  
И танцуй этот джаз,  
слезами омытый, тоскою рассветной.

Эта вечность за нами стоит возмездьем или наградой?..  
Струится хорал с высоты под запах жасмина с Монмартра.  
И мы улыбаемся всем: Парижу, такси, прохожим...  
Мы в каждом из них отразимся...  
Но – не будет на нас похожих!..

Нам с тобою завещано (кем?..) возродиться в иных отсчетах.  
Мечтай. И падай в земную твердь в безумном желанье полета!  
И внимай моим глупым стихам – мы бессмертны сегодня!..  
И встречай ангельский сонм,  
идущий по звездным небесным сходням!

## **Не надо слов**

Не проси больше слов – все пустое:  
Отцветут, отболят, предадут,  
Отшумевшей осенней листвою  
Ровно в срок невзначай опадут.

Наших чувств незабвенное лето  
Не рифмуется в рваной строке.  
Эта песня еще не допета  
На звенящей надрывной струне.

Тяжело говорить о небесном,  
Задыхаясь в житейском плену....  
Я стою на обрыве отвесном:  
Позовешь – улыбнусь.  
И – шагну.....

## **Свет**

В нас меркнет свет, знаешь?!..  
Он гаснет. Почти что уже не слышен.  
Как протяжно звучит журавлиная стая,  
пролетая в осеннюю пору  
над крышей...

Свет – тоже музыка.  
Но ты ее не понимаешь...  
И я пытаюсь на нотном стане узеньком  
звучать, как все.  
К сожалению, не умечаюсь...

Во мне горят звезды.  
В частички космической пыли  
превращаю горчащие терпкие слезы.  
Зачем тебе знать,  
как солоны они были?..

В нас отблески лета –  
помнишь, как оно полыхало?..  
Даже тысячи знойных пожаров-рассветов,  
раскаленных полудней –  
нам не хватало!..

Может, стану ветром...  
Не бойся: тебя крылом не задену...  
Напридумаю тысячу хрупких ответов –  
И сама разобью их  
о ближнюю стену!..

Стынет во мне тепло...  
И сквозняки сейчас как удушье.  
Все равно распахну навстречу ветру окно!  
Властные всполохи света  
он не затушит!..

---

## АЛЕКСАНДР ГРИЧ

### **С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИНТИГАМ!**

*Кто-то из древних сказал, что три человека в этой жизни делают с нами, что хотят: парикмахер, которому мы доверяем голову, банщик, которому мы доверяем тело, и человек, выступающий на нашем дне рождения, которому мы доверяем всего себя... А потому буду осторожен и постараюсь не злоупотреблять доверием именинника.*

Интигам Гасымзаде... Редактор, публицист, сценарист, автор эссе... Человек, тонко знающий и чувствующий литературу, обладающий отменным вкусом и чувством меры. Потомственный литератор – его отец, Беюкага Гасымзаде, к сожалению, очень рано ушедший из жизни, был среди тех, кто закладывал фундамент новой, современной азербайджанской литературы. И еще Интигам политик – ибо как можно долгие годы возглавлять главный литературный журнал страны и не быть при этом политиком? И замечательный товарищ, который никогда не подведет. Да ко всему еще и примерный семьянин, которой обожает дочерей и внуков, чтит жену и верен родственным обычаям...

А к тому же еще человек тонкий, совестливый, обязательный. Вот каким букетом замечательных качеств обладает наш сегодняшний юбиляр. Прими, дорогой, приветы и поздравления из солнечной Калифорнии. Ты здесь, к сожалению, не бывал, но и здесь есть люди, которые тебя знают и помнят.

Страшные цифры приходится произносить теперь в дни рождения! Скажем, я и думать не думал, что мы с тобой знакомы уже почти сорок пять лет. Именно тогда мы пришли почти одновременно работать в Союз писателей – правда, в соседние редакции, но это не помешало нам познакомиться и подружиться.

Горжусь, что наша дружба все эти годы была не только чисто человеческой, но и творческой.

Сразу оговорюсь – в моем приветствии буду больше говорить о совместных делах – их, естественно, знаю лучше. Но читатели помнят и твои сценарии, и эссе, и переводы, и еще многие работы, о которых просто не мне судить.

Двенадцать лет мы с тобой вели на азербайджанском телевидении литературный альманах «Баяты». Была тогда редакция «Дружба», мы все эти годы работали с ее руководителем – Тамиллой Ашумовой – и это было хорошее трио! Ежемесячная часовая передача, и мы ни разу за все годы ее не пропустили. А в каждом выпуске – четыре-пять сюжетов. И в каждый мы приглашали гостей. Больше пятисот человек побывало на передаче, практически все видные азербайджанские писатели, многие замечательные деятели культуры, друзья азербайджанской литературы из Москвы, из союзных республик.

Как жаль, что архив этой передачи утрачен – там были кадры, бесценные для сегодняшнего дня.

С удовольствием вспоминаю, как мы с тобой придумали и осуществили вместе с видными учеными создание первого лингафонного курса по обучению азербайджанскому языку, а после выпустили две тонкие книжки «Деловой азербайджанский» («Ишкузар азербайджан дили»), предисловие к которым написал замечательный писатель и выдающийся общественный деятель, академик Мирза Ибрагимов.

И после, когда уже я жил в Лос-Анджелесе, ты принимал заметное участие в создании пятисерийного документального фильма «Неофициальный портрет президента» – совместной работы документалистов США и Азербайджана. Об этой работе, посвященной национальному лидеру Азербайджана, человеку, сделавшему неизмеримо много для сегодняшнего процветания своей страны, конечно же, стоит рассказать отдельно. Но сейчас напомним, что автор азербайджанских текстов в этом фильме – именно Интигам Гасымзаде.

Многолетняя работа на посту главного редактора журнала «Азербайджан» заслуживает отдельного разговора. Что, на мой взгляд, отличает настоящего редактора? Отменный литературный вкус, требовательность и умение ознакомить читателей с лучшими образцами сегодняшней литературы. Мои друзья в Баку и за рубежом, систематические читающие твой журнал, говорят, что это тебе удастся сделать.

А это всегда было делом трудным, а сегодня стало трудным в особенности. Ибо в литературе, а точнее, около, рядом с литературой – всегда существовали графоманы. Люди, более или менее бездарные, но страстно желающие публиковаться, быть писателями, быть признанными. Помню, как еще в давние годы, будучи руководителем отдела критики, боролся Интигам Гасымзаде с этим явлением. По-разному боролся. Когда – силой, когда – хитростью... И как огорчался, когда по влиятельной указке надо было опубликовать такого автора. А теперь – теперь перед графоманами просторы интернета. «Представляешь, – говорил мне Интигам при недавней встрече в Москве, – теперь графоманам раздолье! Пишут, что хотят, сами себя публикуют, сами друг друга обсуждают. У них – свои авторитеты, свои ценности...» – «Но тебе же в журнале легче! – пытался я возразить. – Тебя, наверное, меньше одолевают.» – «Какое там!» – Интигам только рукой махнул.

Кстати, об этой встрече в Москве. Встретились мы на юбилее нашего доброго давнего друга, сценариста и редактора Савелия Колмановского. Дочь Савелия – Елена – одна из основателей легендарного «Яндекса». Юбилей получился очень теплый и добрый... И в юбилейную программу входила прогулка на теплоходе по Москва-реке. Теплоход был нарядный, комфортабельный, в зале накрыты столы. И вот где-то вскоре после начала поездки за одним из столов зашел разговор о восточной поэзии, о ее звучности, о непередаваемой игре ритмов и красок, о редифе, о размере «аруз» и других тонкостях, которых гости не знали...

Заговорил Интигам. Сначала сдержанно и негромко, потом увлекся. И заговорил во весь голос и начал читать стихи Физули. И тут произошло чудо – вокруг стола, где сидел Интигам Гасымзаде, образовалась толпа. Никто не смотрел на проплывающие берега, люди забыли о красотах пейзажа – надо было видеть, с какой жадностью, с каким вниманием слушали люди Интигама.

Не скажу точно, сколько длилось это импровизированное выступление, – может, тридцать минут, может, сорок. Но аплодисменты, которыми наградили Интигама слушатели, были долгими и горячими. И потом к нему подходили люди – уже с вопросами, так сказать, в частном порядке. Так подходят к знаменитым артистам после концерта. А после и ко мне подходили с похвалами и благодарностями, как к давнему коллеге Интигама. А я только и объяснял, что сегодня слушателям повезло – Интигам Гасымзаде обычно очень скромен и выступать на людях не любит.

«Знаешь, – сказал мне тогда мой ближайший друг Эльдар Криман. – Интигам – не просто Бекюкага оглу. Он сам – Большой!»

А вечером был юбилей в банкетном зале. И Интигам был снова в ударе. За многие годы знакомства я редко слышал, как он поет, а тут – получилось. И спел, и станцевал... Реакцию московской публики зритель сможет представить сам.

Еще одна замечательная черта Интигама – он умеет дружить и умеет делиться дружбой. Так, много лет назад мы познакомились с великолепным поэтом Фикретом Годжа, дружба с которым значит для меня так много. И я счастлив, что Фикрет побывал у меня в гостях, в Лос-Анджелесе. Но именно за дружеским столом с Интигамом очень давно я впервые услышал, как Фикрет читает стихи – и потом перевел их на русский.

И еще памятная встреча: мы сидели с Интигамом и Юсифом Самед оглу – сыном великого Самеда Вургунга, прекрасным писателем и замечательным человеком. И Юсиф сказал (а дело было тридцать лет назад): «Знаете, Саша, мы придумаем скорый поезд «Баку – Лос-Анджелес» и будем ездить друг к другу в гости...»

Юсиф ушел безвременно... Увы, многих нет из тех, с кем мы дружили в те годы.

Но поэт всегда прав – и для меня поезд «Лос-Анджелес – Баку» существует в реальности.

Мне выпала честь быть участником юбилейного Съезда писателей Азербайджана, мне приятно выступать по азербайджанскому телевидению сегодня, почетно быть членом редколлегии журнала «Литературный Азербайджан», который возглавляет Солмаз-ханым Ибрагимова, дочь Мирзы Ибрагимова.

Когда мы с Интигамом гуляли по Баку и проходили мимо бывшего книжного пассажа, находящегося на перекрестке улиц Нигяр Рафибейли и Расула Рза – то вспоминали, как приходили по редакционным делам к двум прекрасным поэтам, которые здесь жили на втором этаже, а я еще приходил и показывать новые переводы их стихов – мне посчастливилось с ними работать, их переводить...

Союз писателей Азербайджана возглавляют сегодня литераторы, чьи имена не нуждаются в рекомендациях: бессменный с 1987 года председатель – Анар и первый секретарь – Фикрет Годжа. Такому руководству может позавидовать любая творческая организация.

Интигам Гасымзаде – главный редактор журнала «Азербайджан» с 1997 года. Он – заслуженный деятель искусств, он удостоен высоких правительственных наград.

За эти годы подросло новое поколение граждан Азербайджана. Первое поколение, выросшее в суверенной Азербайджанской республике. Этим молодым есть, чему поучиться у поколения, представителем которого является Интигам Гасымзаде.

У них – молодых – иные просторы, иные горизонты, иные возможности. Они пойдут дальше. Пожелаем им удачи.

А тебе, дорогой Интигам, – конечно же, здоровья и сил. Всё остальное у тебя есть.

Словом, как в еврейской поговорке – живи 120 лет, а дальше – разберемся.

А по-азербайджански: **İntiqam-bəy, əzizim, sağ ol, var ol, xoşbəxt ol!**

---

Дорогой Интигам! Вся редакция «Л.А.» от всей души поздравляет тебя!!!!



## ФАРХАД МЕХДИЕВ

### Юморески

#### Соседка

Работал я менеджером в крупной фирме. Жил в элитном доме. Зарабатывал вполне прилично, во всяком случае, на жизнь и на все необходимое хватало. Короче, дела у меня шли неплохо и быть недовольным своим существованием я не имел права.

Единственная проблема для меня – это женщины. Проблема не с физическим здоровьем или внешностью – с этим-то как раз все было в порядке. Многие представительницы прекрасного пола откровенно проявляли ко мне интерес, но мне никто не нравился. Мне хотелось чего-то необычного, такого, чтобы полностью захватило и овладело мной. К сожалению, я пока не встретил эту единственную и неповторимую. Конечно, это как-то угнетало, сказывалось на настроении и отражалось на поведении.

Во дворе на автостоянке рядом с моим «Мерседесом» стоял БМВ. Хозяина или хозяйку этого автомобиля я никогда не видел. Видимо, мы в разное время выходили из дома и в разное время возвращались.

Однажды я задержался на работе – были проблемы с отчетами – и вернулся домой часа на три позже обычного. Я припарковал автомобиль, и в тот же момент подъехал БМВ. Из него вышла молодая женщина. Я оцепенел. Никогда в жизни мне не приходилось видеть такую красоту! Рост и фигура модели. Голубые глаза, способные довести любого мужчину до инфаркта. Лицо... Это было лицо ангела. Она была не просто красива, но и источала какое-то доверие, нежность, порядочность, целомудрие. Да и одета была с большим вкусом – дорогой костюм подчеркивал прекрасную фигуру.

Видимо, мое лицо в тот момент настолько отражало то, что со мной происходило, что, посмотрев на меня, она как-то по-доброму улыбнулась, поздоровалась и пошла к своему подъезду. Страхнув с себя оцепенение, побрел домой и я. С этого дня я ни о чем и ни о ком, кроме нее, не мог думать. Я не спал, ходил разбитый, совершал какие-то необдуманные поступки. Одним словом, я влюбился, влюбился до сумасшествия, и решил во что бы то ни стало с ней познакомиться. Я строил разные планы. Я не знал ее вкусов и долго думал, куда ее пригласить: в ресторан – банально, в оперу, в филармонию на симфонический концерт – скучно, да и не поговорить там ни о чем. В конце концов я остановил свой выбор на оперном театре. Все-таки, подумал я, это отражает какое-то наличие интеллекта. Я несколько дней крутился вокруг БМВ и наконец встретил ее. Я подошел, естественно, изрядно волнуясь, и только хотел открыть рот, как она спросила:

– В оперу хотите пригласить?

– А как вы догадались? – с глупым выражением лица спросил я.

– Как-нибудь объясню, – ответила она. – Вы знаете, у меня сегодня дела, а завтра, если вы не передумаете, в семь часов вечера зайдите за мной, и мы сходим в какой-нибудь ресторан. Это, на мой взгляд, более подходит для знакомства и там можно спокойно побеседовать.

После этого мы представились друг другу и обменялись телефонами.

На следующий день без пяти семь я стоял у ее подъезда. Она вышла ровно в семь, и мы поехали в хороший ресторан. Звучала легкая музыка и все располагало к

приятному времяпрепровождению. Я был несколько напряжен, видимо, очень волновался, что не совсем характерно для меня. Я всегда мог поддержать беседу, привык выступать перед аудиторией, но сейчас словно в ступор какой-то впал. В отличие от меня, в ней не чувствовалось никакого волнения. Она непринужденно вела беседу, часто улыбалась, и постепенно это состояние передалось мне. Я расслабился, пришел в себя, сыпал остротами, рассказывал анекдоты. Чувствовалось, что нам обоим беседа стала доставлять удовольствие. Мы не задавали друг другу никаких вопросов и в основном разговаривали на нейтральные темы. В тот вечер мы расстались почти друзьями. Я пытался договориться насчет следующей встречи, но она ответила, что никогда не знает, когда у нее будет свободное время, и она позвонит мне сама. Через три дня она позвонила и пригласила в гости. Я взял бутылку коньяка, коробку конфет и пошел. Она приветливо встретила меня, показала квартиру и, оставив меня в гостиной, пошла хлопотать на кухне. Обстановка в квартире на первый взгляд была несколько аскетичной, но все было подобрано с большим вкусом. В книжном шкафу в основном зарубежная классика, много французских авторов и современные иностранные писатели. Никаких женских романов, бульварщины. Она вернулась, принесла кофе, пирожные. Мы отлично провели время, много беседовали, даже не верилось, что это всего вторая наша встреча. Казалось, мы знакомы много лет. Она оказалась очень умной женщиной, с потрясающей логикой, а иногда и просто удивляла меня четкостью и конкретностью изложения своих мыслей. По профессии она оказалась филологом французского языка.

Наши отношения развивались стремительно. Мы стали чаще встречаться, ходили в театры, рестораны, на концерты. Мы искренне привязались друг к другу, я уже оставался у нее на ночь, и нам откровенно не хватало друг друга, когда мы не могли встретиться. После одной из встреч она спросила меня:

– А ты не боишься привыкнуть ко мне?

– А почему я должен бояться этого? Я уже привык.

Она ничего не ответила.

Через несколько встреч она опять спросила меня об этом. Я удивился и заинтересовался, почему она упорно пытается это выяснить? Ответа и на этот раз не получил. Мои чувства к ней с каждым днем становились глубже, и я решил сделать ей предложение. Я пригласил ее к себе, открыл шампанское, подарил кольцо, признался в любви и сказал все те слова, что говорят в таких случаях. Ее реакция оказалась непредсказуемой.

– Ты же меня совершенно не знаешь, – ответила она, отказалась взять кольцо и нахмурилась. – Чем тебя не устраивают существующие отношения? Я ждала и боялась этого.

Произнеся это, она встала и ушла. Я этого не ожидал, расстроился и просто не находил себе места.

Несколько дней я не мог ее найти – телефон не отвечал, дверь в квартиру была закрыта. Наконец, она позвонила сама.

– Ты можешь зайти ко мне? – спросила она.

Я пришел и с порога заявил, что ничего не понимаю.

– Сядь, – сказала она, – и послушай.

И она рассказала свою историю. Когда она окончила институт, скончался ее отец, тяжело заболела мать. Она зарабатывала случайными переводами, заказов на которые с каждым днем становилось все меньше. Работу найти было невозможно, а французская филология вообще никому не нужна была. Она уже устала обивать пороги офисов. Везде ждал отказ. Денег катастрофически не хватало, холодильник был пуст. Она упорно продолжала искать работу и однажды попала на собеседование к руководителю крупного холдинга. Это был мужчина средних лет, холерный и наглый. Раздевая ее взглядом и задавая ничего не значащие вопросы, он неожиданно заявил

ей, что вакансий нет, но она ему нравится. И если она согласится стать его любовницей, то будет иметь гораздо больше, чем могла бы заработать, и ни в чем не будет нуждаться. Мозг собирался послать его подальше, но язык неожиданно ответил «да». Это, конечно, было отчаянное согласие, но другого выхода у нее не было.

Жизнь ее кардинально изменилась. У нее появились деньги, большие деньги. Она вошла в круг очень влиятельных людей. И эти люди на любовницах не экономили. Она сделала ремонт, купила дорогой автомобиль, стала шикарно одеваться. В душе иногда бывало пакостно, но она подавляла это чувство, оправдывая себя тем, что это работа и ничего больше. И это действительно была работа. Эти люди не афишировали своих отношений. Разговоров никаких не было. Встречи происходили на закрытых виллах. Оработала – в машину с темными стеклами и домой.

– И самое главное, – продолжила она, – что мне это нравится. Да, конечно, с моральной точки зрения это не самый достойный способ зарабатывания денег. Но это позволило мне стать независимой женщиной. У меня есть подруги, друзья – с кем хочу, с тем и встречаюсь, и никто меня не ревнует, не контролирует. Я полностью свободна в своих действиях и предпочтениях. Я могу путешествовать, шикарно одеваться, ни в чем себе не отказывать, даже мужчин могу выбирать – как тебя, например. Хотя должна тебе признаться, что я никого не люблю, а к большинству мужиков у меня просто отвращение. И мне любовь не нужна. А то, что ты предлагаешь – я говорю о серьезных отношениях, – это лишиться всего того, что я имею. Останутся только кастрюли, грязный халат, куча детей и муж, который раз в месяц будет исполнять свой супружеский долг.

– А почему же ты у меня не требовала денег? – спросил я.

Она засмеялась.

– А потому, что с тебя нечего взять. То, что мне дают, тебе и не снилось.

– А почему ты со мной вообще встречалась? – растерянно спросил я.

– Потому что у меня был дефицит общения с нормальными интеллигентными людьми. И ты этот дефицит восполнял. Сексом я с тобой занималась, чтобы не обижать тебя, а не потому, что мне этого хотелось. Этим я и без тебя сыта по горло.

Я вспомнил ее слова о том, что я ее совершенно не знаю, и это действительно было правдой. Рядом со мной сейчас стояла самовлюбленная властная эгоистка, которая жестко спустила меня на землю.

А сегодня на стоянке рядом с моим «мерседесом» стоит красный «феррари».

## **Сестра**

Наконец-то мы переехали в новую квартиру. Мы – это отец, мать и я – вся наша семья. Соседями по этажу оказалась такая же семья, как и наша, состоящая из трех человек, только у них была дочка, а не сын. Родители устроили новоселье, пригласили их в гости, и с тех пор между семьями установились добрые и дружеские отношения. Я и соседская девочка были одногодками и учились в одном классе. Мы подружались, вместе ходили в школу, вместе возвращались. Она была добрая, смысленная девочка, и мне нравилось с ней общаться. Вскоре все привыкли к тому, что мы всегда вместе, нас стали называть братом и сестрой. Шли годы, мы росли, появлялись новые интересы.

Мы всегда делились своими проблемами, живо обсуждали все новости и все больше и больше привязывались друг к другу. Мы окончили школу, она поступила в университет, а я в институт. Мы по-прежнему общались, делились студенческими новостями, но отношения наши, как и раньше, были чисто дружескими. Симпатичная девочка превратилась в красивую девушку. И однажды, посмотрев на нее, я как бы в шутку заметил:

– Да тебя уже пора замуж выдавать!

– Ну и выдай – ты же мне брат, а я найду тебе хорошую невесту, – рассмеялась она.

Шутки шутками, но я решил познакомить ее со своим другом. Это был симпатичный, умный парень и нравился всем девушкам нашего факультета. Мы договорились вместе пойти в кафе. Вечер прошел прекрасно. Мы много танцевали, болтали, веселились. На мой взгляд, парень вел себя очень достойно и не мог ей не понравиться. После вечеринки, когда он ушел, я спросил у нее:

– Ну, как тебе мой друг?

Она разнесла его в пух и прах, причем явно несправедливо.

– Теперь моя очередь, – сказала она, – завтра я познакомлю тебя со своей другой.

На следующий день мы опять пошли в кафе. Ее подруга действительно оказалась приятной девушкой. Чувствовалось, что она не обделена мужским вниманием, уверена в себе, но в то же время в ней не было ни заносчивости, ни высокомерия. Мы проводили девушку домой. Когда остались одни, она спросила, понравилась ли мне ее подруга.

– Девушка очень хорошая, – ответил я, – но меня она, честно говоря, не заинтересовала.

Так продолжалось несколько раз. Это превратилось в какую-то игру. Я знакомил ее с друзьями, она меня – с подругами. И каждый раз после ухода потенциальных женихов и невест мы с садистским упоением начинали их критиковать. Кто-то был высоким, кто-то низким, полным или худым, слишком умным или не очень...

Бедные друзья и подруги! Если бы они только знали, что о них говорят!

Однажды мы гуляли вечером в парке. Я сказал:

– Знаешь, мне уже не с кем тебя знакомить, я и сам не хочу ни с кем больше знакомиться. Мне достаточно тебя и никого мне больше не надо.

– Знаю, – ответила она и улыбнулась. – Мне тоже никто, кроме тебя, не нужен. Какие-то мы с тобой неправильные брат и сестра, – засмеялась она и прильнула ко мне.

## ***Вредные привычки***

В последнее время я стал замечать, что не все в порядке с моим здоровьем. Пора кончать с вредными привычками и переходить к здоровому образу жизни. Первое, что пришло в голову – это алкоголь, сигареты и женщины. То, что пить и курить вредно – это всем понятно. С женщинами не все так однозначно. Одна может доставить тебе и радость, и массу удовольствий, другая способна так отравить тебе жизнь, что ни с какими сигаретами и алкоголем не сравнить! Алкоголь я употребляю редко, в основном, при встрече с друзьями и по какому-нибудь радостному поводу. Поэтому особых проблем здесь я для себя не вижу. Гораздо хуже с курением. Пытался бросить – не получилось. Надо сократить количество сигарет и не курить до завтрака – такую задачу поставил я перед собой на первое время. Почему-то пришла в голову набившая оскомину фраза «Капля никотина убивает лошадь». При чем тут лошадь? Какой негодяй проводил опыты над лошадьёю и убил ее?! Неужели больше не на ком было экспериментировать? Ну, дал бы эту каплю никотина теще, начальнику или зажавшемуся министру... Нет, лошадь ему подавай!.. А бедные лошади пашут всю жизнь на человека, никогда не курили и курить не собирались! И вот благодарность существа разумного – человека.

Если купить блок сигарет, то на каждой пачке увидишь угрожающие надписи: никотин нарушает деятельность сердца, сосудов, легких, способствует возникновению злокачественных опухолей, вызывает выкидыши и бесплодие, старение кожи,

уродует лицо и т.д., и т.п. Что-то, конечно же, страдает от никотина, но не все же! Если бы это было так, то достаточно было бы прекратить продажу сигарет – и человечество перестало бы болеть. Видимо, врачи свое неумение лечить больных решили свалить на сигареты.

Как-то летел я в одну из европейских стран. Нигде нельзя было курить, ни в аэропорту, ни в самолете. Когда мы приземлились и вошли в здание аэровокзала, я пошел искать место для курения. Вдруг я увидел кафе, где сидели люди и курили. «Демократия», – подумал я и закурил. Тут же ко мне подошел официант и сказал, что курить здесь нельзя. «Как же так, – удивился я, – ведь все в кафе курят». «А вы купите что-нибудь, и вам разрешат курить», – услышал я ответ. Я накупил всякой ерунды, выпил кофе, выкурил сигарету. После этого подозвал официанта и спросил: «Скажите, пожалуйста, почему до покупки дым от моей сигареты причинял вред окружающим, а после – нет?». «Бизнес», – засмеялся он.

Ну, ладно, что ни говори, а курить все равно надо бросать! Но, к сожалению, кроме курения столько всего есть вредного, что, узнав об этом, жить не хочется. Нам советуют ограничить соль и сахар, не употреблять генномодифицированные продукты, исключить пищу, где много холестерина, нитраты, горячее, холодное, острое... А чем же питаться, если все вредно?

В мыслях мелькнули две ситуации.

Жара, лето. Мы с друзьями отправились на дачу. После пляжа, уставшие и довольные, расположились в тени под деревом. Холодное пиво, креветки, вобла, лещ, соленые орешки – неземное удовольствие! Детям дали мороженое, чтобы остыли и не мешали пить пиво. Потом были шашлыки, отбивные и т.д. Ну разве это может быть вредно для организма?

А вот вторая ситуация: на столе манная каша, вегетарианская пища, молочные коктейли. Детям дают по ложечке рыбьего жира. Они, бедные, давятся, их чуть не выворачивает наизнанку... Дальше продолжать даже не хочется. Это может быть полезно? Сомневаюсь.

Надо есть то, что тебе нравится – это будет полезно, а то, что насильно впиливаешь в себя, никогда пользы не принесет.

Но если бы только это! Оказывается, вредно все то, что доставляет вам удовольствие и радость! Представьте себе, что вы пригласили в гости любимую женщину. Свечи на столе, коньяк, кофе, фрукты, то, се... Раздается звонок. Вы, приветствуя гостью, целуете ее. И это очень легкомысленно с вашей стороны! Вы даже не понимаете, какой опасности вы подвергаете друг друга!

О том, что целоваться вредно, люди знают много веков, но никак не могут избавиться от этой дурной привычки. Целуются мужчины, целуются женщины, целуют детей, стариков и т.д. Может быть, кому-нибудь это и доставляет радость, но, к сожалению, чаще поцелуй заканчивается неприятностями. Если уж во рту у здорового человека полно микробов, то что же говорить про больных? Так стоит ли рисковать здоровьем ради кратковременного и сомнительного удовольствия? Можно, конечно, законодательно запретить целоваться и развернуть борьбу с поцелуями, как, например, с пьянством или курением. Но любой запретный плод сладок, а этот вдвойне. Пользы от запрета, конечно же, не будет. Поэтому если вам уж так приспичило поцеловать кого-нибудь, и вы с этим ничего поделать не можете, лучше принять профилактические меры для предотвращения распространения инфекций. Первым делом надо обратиться к врачу-отоларингологу и убедиться в отсутствии у вас инфекций верхних дыхательных путей и других болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Получив справку о том, что у вас все в порядке, предъявите ее вашему партнеру и потребуйте у него такую же. После этого можно переходить непосредственно к профилактическим мероприятиям. Обработайте полость рта специальным аэрозо-

лем и почистите зубы многокомпонентной и универсальной зубной пастой. Десны следует смазать антисептическим гелем. Затем приступайте к обработке поверхностей, которые вы предполагаете целовать. Тщательно промойте губкой с мылом губы и область вокруг них себе и партнеру. Потом обработайте йодом и после протрите спиртом (можно водкой, если нет под рукой спирта). Водку внутрь не принимать – чтобы не потерять контроль над процессом. Теперь можно и поцеловаться! Лучше ограничиться одним или двумя поцелуями. Злоупотреблять нельзя, чтобы не повредить слизистую или кожу. После поцелуев все процедуры следует повторить.

Конечно, все это несколько усложняет и удлиняет процесс, но зато оставляет шансы сохранить здоровье и не заразиться. Но задумайтесь – оно того стоит? И если, несмотря ни на что, все это не отобьет окончательно у вас желания целоваться – то целуйтесь на здоровье!

И вообще делайте то, что доставляет вам радость и удовольствие и не думайте о том, что полезно или вредно... В разумных пределах, конечно!

## **Дружба**

Как-то познакомился я в ресторане с симпатичной девушкой. Посидели, выпили немножко, разговорились. Обычный разговор – ни к чему не обязывающий – не представлял особого интереса, пока девушка – видимо, желая показаться скромнее, – вдруг не заявила:

– Но учти, что между нами могут быть только дружеские отношения.

Я попытался выяснить, что это такое, так как у меня всегда было недоверие к дружбе между мужчиной и женщиной. Сумбурные и малопонятные ее объяснения еще более усилили мои сомнения.

Утром проснулся, принял душ, настроение было хорошее, вспомнил вчерашний разговор и опять задумался: а действительно, существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Я ходил по квартире и старался разобраться, возможна ли дружба с женщинами без секса? Но как ни пытался, так и не смог убедить себя в этом.

Я решил проверить это в разговоре с моей хорошей приятельницей, которая сегодня должна была ко мне приехать. Где-то часов в двенадцать раздался телефонный звонок. Это была она.

– Привет! – обрадовался я, предвкушая разговор.

– Привет.

– Как дела?

– Хорошо, а у тебя?

– Тоже неплохо.

– Что делаешь?

– Да ничего особенного, сижу в Интернете, читаю газеты.

– Я хочу к тебе приехать.

– Ну, приезжай, конечно, только учти, что наши отношения теперь будут дружескими.

– А что, до сих пор мы были врагами?

– Да нет, просто с сегодняшнего дня будем друзьями.

– Странно как-то... – услышал я на том конце провода растерянный голос.

– Что странно, быть друзьями странно?

– Да нет, не странно, но почему же ты тогда раньше мне этого не предлагал?

– Ну, вот сейчас решил, что так будет лучше, и предлагаю.

– Скажи честно, ты вчера много выпил? Нажрался, что ли? – в ее голосе явно слышались раздраженные нотки.



– Почему сразу нажрался? – обиделся я.  
– Может, заболел или перегрелся? – предложила она другой вариант объяснения моему странному предложению.  
– По-твоему, только пьяные, больные и перегретые могут быть друзьями?  
– Да нет, а как же все остальное?  
– Как всегда, – ответил я.  
– Что – как всегда? Между друзьями?  
– А почему бы и нет? – пожал я плечами.  
– Ну ты и извращенец, раньше такого за тобой не замечала! – воскликнула она.  
– Почему же извращенец? На мой взгляд, дружба сексу не помеха.  
– Но я же тебе и без дружбы никогда не отказывала!  
– Да, не отказывала, но с дружбой ведь приятней!  
– Ну и сволочь же ты! – услышал я в трубке.  
– Ты почему меня оскорбляешь?  
– Просто скажи честно, что нашел другую и решил избавиться от меня. Вот и придумал какую-то дружбу!

И она швырнула трубку.

Я совсем запутался: одна мне предлагала дружбу – мне это не понравилось, другой я предложил дружить, так это вообще закончилось оскорблением и расставанием. Но ведь в принципе дружба – это же не плохо? Почему же люди отказываются от нее?

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Я так и не понял.

## **Бессонница**

Не везет мне что-то. Здоровье не очень, настроение никуда не годится, целый день вялый какой-то. Во всем виновата бессонница. Никак не могу выспаться. Что только я не делал, чтоб уснуть. И гулял перед сном, сидел в теплой ванне, принимал мед с водой – ничего не помогает. Как только лягу в постель, мозг сразу напрягается, и лезут в голову всякие ненужные мысли.

Все говорят: думай только о хорошем. А где взять это хорошее?

Первое, что пришло мне в голову – это природа. Что может быть лучше природы? Решено!

Надо отдохнуть на море, нет, лучше сразу к океану. Это необъятные просторы, много воды, песчаные пляжи, солнце – красота!

Да, красота-то красотой, но только сунешься в воду, а там акулы, вечно голодные и жаждущие крови, мурены, мечтающие отхватить твою ногу, медузы с ядовитыми щупальцами, да мало ли еще каких тварей, только и ждущих, чтобы ты окунулся в воду! Нет, не стоит так рисковать жизнью.

Может, в лес на берегу речки? А ведь речку можно спутать с болотом. Там же тоже красиво. Камыши, дикая малина, мох кругом... А когда тебя засосет трясина, уже некому будет любоваться этой красотой.

Но можно ведь в лес без речки и болота. С другой стороны, кто сказал, что там безопасно? Волки только и ждут, чтобы тебя сожрать, лисица попытается заразить бешенством, кабаны не оставят даже косточек, я уж не говорю про всяких клещей менингитных и энцефалитных. И это в средних широтах! А что говорить про тропики, джунгли, пустыни. Об этом даже думать не хочется – змеи, скорпионы, фаланги – ужас какой! Да и на северном полюсе не спрячешься – белый медведь достанет! Нет, природа – это красиво, но слишком опасно!

Может, красота? Ведь не зря же говорят: красота спасет мир! Да, может, когда-то она и спасала мир, но только не сейчас.

Не дай бог, приснится эротический сон, и кого ты там увидишь? Если раньше говорили, что человек состоит на восемьдесят процентов из воды – во всяком случае, в отдельных частях, то сейчас женщины на пятьдесят процентов состоят из силикона, на двадцать – из ботекса и только остальные тридцать – вода, да и та из загрязненного источника. А мужики – посмотрите, в кого они превратились! Женоподобные, костюмы – унисекс, прически – не приведи Господь. Сплошные трансвеститы, геи и лесбиянки. Нет, лучше таких снов не видеть. Надо в Интернете поискать! Ведь газет там миллион, может, и подадут хорошую идею. Читаю заголовки статей. В одной стране националист перестрелял кучу народа на острове. Войны, террористы, взрывы, перестрелки, убийства в школах и институтах. Муж убил жену за измену. Отец убил дочь за распутство. Жена убила мужа за пьянство. Сын украл у матери драгоценности, чтобы купить наркотики. Дети нюхают клей и дихлофос. Известная кинозвезда отрезала части тела, боясь рака, – но видеть-то ее во сне хотелось бы с неотрезанными частями! Да, и в Интернете хватает ужасов!

Может, религия поможет? А что, говорят, религия несет добро, помогает всем страждущим. Но что-то память подсказывает мне совсем другое. Почему-то вспоминаются крестовые походы, инквизиция, костры, изгнание дьявола, истязания, жертвоприношения и так далее. Православные не любят католиков, католики презирают протестантов, все ненавидят мусульман, а мусульмане против всего остального мира. Священники благословляют на войну, освящают ядерные боеголовки, танки, боевые самолеты... Вряд ли все это оружие несет добро. Нет, мне религия уж точно не поможет.

Что же делать? Ничего хорошего в голову не приходит! Но спать-то надо!

Может, просто выпить таблетку снотворного? Да, пожалуй, это выход. Но с другой стороны, сейчас столько фальшивых лекарств. Уснуть-то уснешь, а вот проснуться – это вряд ли. Но что делать? Придется рискнуть!



## НИДЖАТ МАМЕДОВ

### МЫСЛИ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Вся деятельность человека – это космоизация хаоса, упорядочивание случайности, постижение природы, превращение неизвестного в известное. И эта деятельность – стремление к счастью посредством познания и контроля / власти. Счастье – конечная цель всех исканий. В идеале счастье – это вечная молодость, здоровье, бессмертие, всеисилие (трансгуманизм). Но в реальности счастье это: для тела – сон, еда, секс, здоровье; для души – дружба, любовь, общение; для духа – творчество; для интеллекта – познание, анализ.

С научной точки зрения, прогрессистской точки зрения, человек выдумал Бога, чтобы самому стать Богом. Наверное, человек способен осуществить всё, о чем может помыслить, что представить, нафантазировать. Мифические элементы прошлого реализуются посредством техники. Мы фантазируем нечто в мифе, верим в это в религии, осмысливаем в философии и, наконец, воплощаем в науке.

Потребность в другом настолько сильна, что его отсутствие может быть вполне галлюцинациями.

Даже если мирового закулисья нет, а я почти уверен, что нет (чрезмерная сложность мировых процессов предполагает сетевой тип управления, а не иерархический; к тому же согласно принципу «бритва Оккама» надо выбирать кратчайшее объяснение), человеческому сознанию присуще стремление вечно выискивать второе дно, не довольствуясь поверхностью событий, то есть в условиях принципиальной нехватки знаний мы заняты домыслами, гипотезами и предположениями.

Всеми своими открытиями и провалами мы обязаны тенденции искать глубину.

Каковы факты на самом деле, мы не знаем. Мы предлагаем различные интерпретации. А уже в наше время интерпретации интерпретаций (Ницше).

Постмодерн не побежден, вот в чем дело.

Народ во все верит, философы не верят ничему, а правители пользуются моментом.

Вместо мирового закулисья можно с тем же успехом поставить рептилоидов, Сатану, инопланетян, матрицу.

Для психологически здорового человека характерна философия релятивизма, «пожелания».

Надо научиться принимать неопределённость, надо научиться *«любить жизнь больше, чем смысл жизни»* (Достоевский).

Все живое избегает страданий и стремится к счастью. Зачастую счастье одного оборачивается на деле страданием другого. Однако простейший «невидимый» вирус в очередной раз доказал, что *«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши»* (Джон Донн). Чтобы разорвать порочный круг обвинений, можно попробовать начать с себя, с неведения, исходной омраченности своего сознания. Буддизм утверждает, что вместе с гордыней и гневом неведение составляет три корня зла. Сейчас познание самого себя, усмирение своих аффектов, умение отличать деструктивную аффектацию от конструктивной экспрессии важно, как никогда раньше.

Хотя большинство тех, кто пользуется выражением «Özümü tanıyan oğlanam», готовы лопнуть от дутой важности, что никак не сочетается с самопознанием. Копаться в себе необходимо. Да, кроме дерьма, мало что найдешь, но хотя бы будешь

знать, что ты не избранный, снимешь корону с головы. И в качестве бонуса не будешь подмазываться к тем, кого мнишь с еще большей короной на голове. «Özünü tanıyan oğlan» в итоге должен понять, что «*найти себя невозможно, себя можно только создать*» (Томас Сас). И это самосозидание не должно ограничиваться одним телом – бодибилдингом, столь излюбленным современными азербайджанцами; необходимо совершать и внутреннюю работу, обретая подлинное достоинство.

И вот тогда мы перестанем творить идола из Бога, из знания, из *kisilik*, патриотизма, денег, любви, ибо любое идолопоклонство – грех. Кроме поклонения свободному человеку, к которому мы приближаемся. И вот тогда мы подойдем к пониманию того, что ни одна отдельно взятая идеология либо учение не в силах претендовать на полноценное объяснение реальности. И буддизм в том числе.

Буддизм прекрасно объясняет внутренний универсум, при этом не прибегая к идее Бога. Что замечательно. Однако социальным и политическим объяснительным потенциалом он не обладает, списывая внешнюю неустроенность на счет иллюзорности реальности, омраченности сознания и т.д.

Проблема существует не только в метафизической, эпистемологической и этической плоскости. Но и социально-политической. Ради объяснения темнот и тягот земной жизни мы выдумали жизнь небесную с богами, ангелами или нирваной, которые до поры до времени работали вполне сносно. Но вспомним повторно принцип Оккама: «*не приумножай сущности сверх необходимого*». Материя – вот то, с чем можно работать. Надо менять не только свое восприятие, но и внешнюю реальность. Хотя буддизм утверждает, что внешней реальности нет. Буддизм говорит, смирись и тогда сансара предстанет нирваной.

А может, выход не в смирении, а в бунте?

У человека, оказавшегося в тюрьме, есть две стратегии поведения: смирение и бунт. Хотя, нет, есть и срединный путь между смирением и бунтом – это исследование, вопрошание, философский подход к реальности. Трезвость философии и науки заключается в том, что первая учит задавать вопросы, а вторая дает временные, относительные ответы. В то время как обманчивая привлекательность религии и мистики в том, что те дают однозначный «ответ» и возможность субъективного переживания состояния «ответа».

С давних пор для меня идеальными объяснительными аналогиями реальности были миф о пещере и притча о слепых и слоне.

Миф о пещере рассказывает Платон. Речь в нем идет об узниках, закованных в пещере спиной к выходу и лицом к стене, на которой отражаются тени от реальных объектов снаружи. Видя лишь тени, несчастные считают, что это и есть истинная реальность. Но одному из заключенных удастся сбросить кандалы, выбраться наружу и увидеть, что реальны не тени, а объекты, которые отбрасывают тени из-за сияющего на небе Солнца. Когда узревший реальность узник возвращается к собратьям, чтобы поведать им освобождающую истину, те поднимают его на смех и, согласно одной концовке, прогоняют, согласно другой – убивают.

Притча о слепых и слоне повествует о трех слепых, которые ощупывают слона. Первый, ощупав хобот, говорит, что это змея. Второй, ощупав ногу, что это колонна. А третий, ощупав хвост, что это веревка.

Обе эти притчи могут иметь самые разные толкования: трагедия мыслящего человека, отвергнутого обществом; освобождение от тьмы неведения; невозможность познания объективной реальности и т.д. И обе эти притчи связаны со зрением, через метафору зрения они говорят о том, что для достижения глубинных слоев реальности необходимо умозрение.

Но возможна и социальная трактовка обеих притч. Возможен вопрос: кто и зачем заковал этих несчастных в цепи и заключил в пещеру? Кто и зачем ослепил этих несчастных?

Скажу иначе, продолжая зрительную аналогию. Если я вижу что-то криво, то, будучи человеком самокритичным, предположу в себе косоглазие, обращусь к окулисту, надену очки. Но если и после этого продолжу видеть объекты криво, то приду к мнению, что что-то не в порядке не только с моими глазами, но и с самими вещами.

И вообще надо смотреть вперед, а не назад, выбирать утопии, а не традиционалистские сказки.

Буддизм на самом деле – это очередная метафизика, реформированная, которая отказалась от индийского пантеона и прочих элементов. Хотя исторически буддизм тоже подвергся формализации и разным доктринальным усложнениям. Соответственно, буддизм тоже страдает разными метафизическими парадоксами и противоречиями.

Неведение в случае Будды – это, по сути, проблема отцов и детей. Буддизм ведь видит корень проблем в неведении, изначальной омраченности сознания. Так вот, это на самом деле социальная проблема отцов и детей. Ведь именно отец Будды «организовал» для сына эскапистскую жизнь во дворце, где тот не знал, что такое страдание, болезнь, старость и смерть. С ребенком говорить надо было. Подбирая верные слова и верную интонацию, говорить о непричесанной действительности.

Uşađı gərək gözüaçıq böyüdəsənki, götüaçıq qalmasın.

Надо говорить. Надо вырабатывать общий язык для консолидации с другими узниками и достижения спонтанной солидарности.

И надо отбросить интеллектуальную трусость: мыслить дальше бога, дальше государства, дальше гендера.

Раньше мое отношение к жизни можно было бы выразить знаменитым трехстишием Басё «Старый пруд. / Прыгнула лягушка в воду. / Всплеск в тишине».

Но сейчас, когда мне почти сорок, и со мной происходит трансформация, знакомая многим пишущим, а именно переход от романтизма к реализму, я предпочитаю другой опус о двух лягушках, угодивших в кувшин с молоком. Одна из них после долгих попыток выбраться, сдаётся и тонет в молоке. А вторая продолжает сопротивляться, продолжает прыгать и тем самым, взбивает молоко в масло, выбирается на твердую поверхность и спасается.

Я говорю о деятельной жизни, а не бегстве от жизни, не эскапизме. Умереть мы успеем всегда. Да и со смертью не все так однозначно и окончательно. Настанет день, когда смерть перестанет быть обязателькой. Об истинной свободе мы сможем говорить тогда, когда предзаданные вещи вроде социальной, расовой, гендерной принадлежности, вроде смертности можно будет выбирать по собственной воле. В фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960) писатель на вопрос «Чего бы вы хотели достичь в жизни?» отвечает: «Стать бессмертным, а потом... умереть».

**ТОФИК АГАЕВ**  
**ТРУДНО БЫТЬ ХОРОШИМ**

*Дистих*

Как антенна, голова  
Ловит нужные слова.

Глубоко нырять в том смысле –  
Для глубоководных мыслей.

Это же ведь идеально:  
Жизнь проживать секундально.

Известен размер души, наконец:  
Одной он тысяче равен сердец.

Хотя бы, скажем, на грамм,  
Каждый из нас – это храм.

Пускай твой стакан не полный,  
Ты ж будь до краев довольный.

Подожди, поднимается тесто –  
И у слова есть время и место.

Писать: слова убирая,  
Чувства одни оставляя.

Как же со счастьем дружбу водить.  
Если его не производить?

Под звуки восьмой ноты  
Земшар вершит обороты.

Пошлю тебе нежный стих –  
Из мягких знаков одних.

Афоризм до самой точки –  
Роман из одной лишь строчки.

Жизнь – театр, Земля – сцена,  
Билету – грош цена.

И в частности, и в общем,  
Трудно быть хорошим.



**Всему наступит конец,  
И Вечности – наконец.**

*Эльмире*

**Я каждый миг ловлю,  
Сказать тебе: «Live you!»**

**Судьба все ждет и ждет,  
Ей тоже повезет.**

**В речи старца-ученого  
Много неизреченного.**

**В жизни самое сущее:  
Найти в себе радушие.**

**Уши выросли коль,  
Услышь чужую боль.**

**Как бы ни казалось странным,  
У сердца язык – иностранный.**

**Что с того, что сапфиром оброс?  
Будь со всеми, как камень, прост.**

**Бьется меньше мгновения  
Сердце стихотворения.**

**Из сердца идущий свет –  
Ему преграды нет.**

**В небесах же с давних пор  
Течет звездный разговор.**

**Шипы таят угрозу,  
А мы все любим розу.**

**Вечным детством награжден,  
Кто видит звезды даже днем.**

**Слово любое скажи, напиши –  
В нем отпечаток твоей души.**

**Больше сказать поэт чает,  
Чем слово обозначает.**

**Знать бы, как правильно жить,  
Бессмертие чтоб нажить.**



# 11 ЛЕТ БЕЗ ЯНЫ КАНДОВОЙ

ЯНА КАНДОВА

## Боевой клич кота Микэ

Наверное, это было в годы Гэнна, а может быть, и раньше. Во всяком случае – в глубокую старину.

В одном поместье жила юная девушка, которой едва ли исполнилось шестнадцать лет, и звали ее Мунэ. Девушка жила вместе со своей старой служанкой Симо. Барышня Мунэ отличалась отменной красотой и прекрасным характером. Ее отец был богатый и уважаемый человек, он купил это поместье специально для нее, чтобы она не мешала ему в его личных делах. Было известно, что он охотник до любовных утех.

Мунэ была очень умна и образована, знала наизусть стихи из Кокинсю, Манъёсю и Исэ-моногатари, а также превосходно играла на разных цитрах.

У Мунэ был любимый кот, звали его Микэ. Когда барышня упражнялась в игре на цитре, кот лежал на подушке рядом с ней и одобрительно мурчал. Когда же она брала перо и тушечницу и писала на тандзаку трехстишья, Микэ внимательно следил за ее рукой и часто хотел подправить ее лапкой. Барышню это очень забавляло, и она души не чаяла в своем коте.

Однажды Мунэ вместе с Симо пошли прогуляться по сливовым садам, которые росли на противоположной стороне холма Кристального родника. Путь был неблизкий, но ради красот цветущих слив Кристального родника люди приезжали даже из других провинций. Мунэ решила взять с собой и кота, которого уложила в корзину. На обратном пути они заплутали и вышли в неизвестном им месте к какому-то храму. Мунэ решила передохнуть, прежде чем искать дорогу домой. Навстречу им из храма выбежал молодой монах очень маленького роста, он едва доставал до плеча старушке Симо. Он низко поклонился барышне и сказал, что его наставник сейчас отсутствует, но может прийти в любое время. Затем он пригласил женщин передохнуть под сводами храма, что пришлось по душе Мунэ, которая очень устала в пути. Заодно Мунэ подумала, что монах сможет разъяснить их местонахождение и показать дорогу домой. Служка отправился готовить угощение и оставил женщин одних. Как только он ушел, старая Симо зашептала Мунэ:

– Госпожа, сколько лет я прожила здесь, но ничего не слыхивала об этом храме. Нам надо поскорее уйти, а то как бы ни случилось беды...

Мунэ улыбнулась:

– Симо, почему же ты везде видишь врагов? Это же монах, и настоятель скоро вернется. Какой они могут причинить нам вред? Этот монашек такой маленький, как будто мальчик. Лучше посмотри на Микэ, он, наверное, проголодался.

Старушка открыла корзинку, ворча себе под нос:

– Да он все спит. Зачем мы его брали с собой? Только руки все оттянул, вся спина онемела.

– Вот уж соня и лентяй, – засмеялась Мунэ. – Он любовался сливами во сне.

В это время в келью вошел монах, он принес ароматный чай и сладости и начал потчевать Мунэ и Симо.

– Какой необычный вкус у вашего чая, не правда ли, Симо? – воскликнула Мунэ.

– Очень странный аромат, – проговорила Симо, приняв хиваясь к напитку. После первого глотка она решила больше ни к чему в этом храме не притрагиваться.

– Это, – потупил глазки монах, – особый сбор моего наставника. Свои рецепты он хранит в секрете.

После чаепития Мунэ разморило. Она еле сдерживала себя, чтобы не повалиться на пол. Симо, почувствовав неладное, попыталась растолкать свою госпожу. Но Мунэ все же упала без чувств. За ней последовала и старушка Симо, не успевшая ничего сообразить. Монах остался сидеть подле них, как каменное изваяние.

Наступили сумерки. Монах встрепнулся, принялся и начал издавать какие-то звуки, то ли писк, то ли щелчки. Из темноты за пределами храма доносились такие же звуки. Вскоре в храм вошла огромная крыса. Монах, завидев ее, подполз к ней на четвереньках, по ходу превращаясь в ее подобие. Они начали друг друга обнюхивать и попискивать.

В это время корзинка, в которой спал Микэ, зашевелилась. Кот, проснувшийся от необычных запахов и звуков, высунул свою мордочку наружу. Завидев крыс, которые в это время уже подкрадывались к его хозяйке, он глухо зарычал. Его рычание, вначале тихое и еле слышное, становилось все громче и громче. Крысы остановились, насторожились, поводили своими длинными носами, затем развернулись в сторону входа. Но Микэ уже не рычал, его рычание перешло в крик, а крик – в вопль. Он орал протяжно и без остановки. Шерсть его стояла дыбом, глаза горели зеленым безумным огнем. Микэ издавал боевой клич котов древней Японии, и ему вторили коты из всей округи. Крысы побежали, Микэ двинулся за ними. Из зарослей выбежало несколько котов и все они бросились на чудовищных крыс. К храму сбегались и сбегались еще коты. В считанные мгновенья от двух тварей остались только разорванные тушки.

После боя Микэ умылся и вернулся в свою корзинку спать.

На рассвете старая Симо очнулась и растолкала Мунэ. Женщины увидели, что находятся под открытым небом, а от храма не осталось и следа. Маленького монаха тоже как не бывало. Побродив вокруг, они заметили крысиные тушки и в омерзении отбежали. Мунэ бросилась искать корзинку с котом и радостно воскликнула, когда нашла ее.

– Гляди, он все еще спит! С нами тут такое наваждение случилось, а этот соня и лежебока спит!

Симо узнала путь, по которому им нужно возвращаться, и позвала свою хозяйку.

Женщины по дороге вспоминали случившееся и удивлялись. Старая Симо, как всегда, ворчала, напоминала барышне о своих вчерашних предчувствиях. Мунэ же виновато улыбалась и думала о том, как воспримут их приключение отец и родственники.

И только Микэ, обессиленный ночным боем, спал, и во сне ему снилась его любимая иваси.

24 апреля 2006 г.

## **МАРАТ ШАФИЕВ**

### ***Аэлита из Баку***

*Мы познакомились в октябре 2001 года – Поэтический клуб общества «Содружество» на этот раз собрался в квартире сестёр Трофимовых (улица Горького, 11), которую посещал Есенин. В облике Яны было нечто аэлитовское: рыжие волосы, большие выпуклые глаза, невозможная хрупкость. В том же году состоялась её первая публикация в журнале «Литературный Азербайджан» – рассказ «Таксист». Так Яна вошла в могучую реку русскоязычной бакинской литературы. Река не была однородной по всему течению: мели чередовались с глубинами, пороги с более или*

менее устойчивыми водоворотами. Первые тексты Яны мне «не показались». Я жаждал социальности, фантазогория представлялась дорогой в никуда. Но в Яне чувствовался большой потенциал (к тому же давало о себе знать филологическое образование Славянского университета), и ещё она умела чутко и долго слушать, в отличие от всех нас, любящих поговорить.

Тесным кругом у Аяза Салама (я, Лачин, Яна, Нелля, Эмин) пили из глиняного кувшина грузинское вино, ели чурек с овечьим сыром, потом (Яна, Лачин) собирались у меня, дома у Лачина (плюс Алина), ездили на пляж в Бильгях (плюс Сергей Шаулов), справляли в ресторане «Жемчужина» юбилей Лачина (плюс Хакимов, Елена Андреева). Почему я вспоминаю подробности? Выплёскивая друг на друга свои тексты, получая в ответ крупнокалиберный залп критики, бросаясь в споры, грезя о славе – в этих встречах калилась сталь, уточнялись координаты относительно звёздного неба, да и конкуренция подстёгивала отстающих.

Обнаружился ещё один талант Яны – редакторский. Я тогда писал сложно: одной незаконченной мысли перебегала дорогу другая, чтобы потом вернуться к началу, предложения получались трёхэтажными (но не так ли мы ведём живой диалог?), в них легко было заплутать. Но Яна говорила, что ей вычитывать меня легче, чем иных, вроде бы, пишущих просто. И эта оценка человека с литературным вкусом для меня дорогого стоила.

Яна была редактором всех книг Лачина, начиная с первой, – «Анчар» (2001 г.), нашей совместной «Под знаком Льва» (2002 г.) – я, Лачин, Яна оказались по гороскопу Львами. Яна придумала и осуществила проект «НФ» – «Наша фантастика». Под этим брендом вышло пять книг, первая – «Иные времена» – стала предтечей возрождённого после 20-летнего перерыва (21 июля 2004 года) Бакинского клуба фантастов «Южный треугольник». Его председателем была избрана Яна.

Яна является автором и двух собственных книг: «Рыжий голос» (2003 г.), «Бакинские рассказы» (2005 г). Её тексты выкладывались в интернет-порталах «Новая литература», «Открытая мысль», «Самиздат» (отметим также бумажную публикацию в московском журнале «Братина», №3, 2009 г.), но в основном она была игроком командным.

Яна многое сделала для пропаганды Клуба фантастов, итогом этих усилий стало участие бакинцев в болгарском Конкурсе «Злата Кан» 2009 года, победителем которого вышел Лачин.

Какая, оказывается, огромная сила таилась в этом хрупком теле! Как много она успела!

В два часа ночи 27 мая 2009 года Яна умерла от обширного инфаркта. Накануне своей свадьбы. Накануне своего тридцатилетия.

В интервью газете «Неделя» Яна однажды сказала: «Окружающий мир меня не устраивает. В нём очень часто не хватает справедливости, правды, чести, достоинства... Единственный мир, в котором я могу бороться за справедливость и добиваться её – это мир, созданный мной на страницах моих произведений».

Самое удивительное – с течением времени рассказы Яны, подобно дичкам, только наливаются силой. Сама жизнь становится сумбурной, гротескной; она все более уподобляется фантазогоричным театральным представлениям в Европе в XVIII–XIX веках, в которых при помощи «волшебного фонаря» на заднем плане демонстрировались пугающие образы: скелеты, демоны, привидения.

Помните, как заканчивается роман Алексея Толстого? «Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей Вселенной, зовя, призывая, клича, – где ты, где ты, любовь...» Так и голос Яны – его до сих пор улавливают приёмники наших сердец.









